ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР — ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ

ЧАСТЬ II

ДЕСЯТИНА МЁРТВЫХ

18+

ИЛЬЯ КАЛИНИН

Илья Калинин

Виктор — Отставной Солдат (Часть II)

https://litres.ru/74698332
SelfPub; 2026

Аннотация

Вторая часть романа «Виктор — Отставной Солдат». Сорок дней от Мартынова дня до Рождества. Спецназовец Виктор Скорев, погибший в Сирии и очнувшийся в теле отставного солдата в Германии XVI века, едет в Кроненфельд с артелью калек, тридцатью тремя талерами и четырьмя тетрадями, за которые в двух городах могут убить. Цену за его голову здесь назначили раньше, чем он въехал в ворота.

Соляная гильдия нанимает его очистить дорогу от «Волчьей роты» и платит по талеру с головы. Волки ходят в шкурах и режут связанных возчиков, чтобы другие боялись. Только кони у них подкованы по-зимнему, сапоги шиты одним сапожником, а жалованье им возят из замка на горе, в свёртках новой монеты под свинцовой печатью.

Магии нет. Есть счёт: кто платит, кто знает и кто умрёт следующим. Скорев отвечает тем, что умеет, — счётом, подлогом, огнём и верёвкой. Но в самую длинную ночь года победа

оборачивается приговором: вне мира. А объявленного вне мира берут даром.

Содержание

Глава первая. Мостовщина 5
Глава вторая. Две монеты 31
Глава третья. Талер с головы 56
Глава четвёртая. Калеки 77
Глава пятая. Подковы 101
Конец ознакомительного фрагмента. 116

Илья Калинин
Виктор — Отставной Солдат (Часть II)

Глава первая. Мостовщина

Сторож у моста был тот же самый, которому месяц назад Скорев отдал медяк за то, что тот объяснил ему, чья тут земля.

Он сидел на чурбаке у жерди, положенной на козлы, в той же драной заячьей шапке, и так же, как месяц назад, не встал.

— Мостовщина, — сказал он.

— Знаю, — сказал Скорев. — Считай.

Сторож посмотрел на телегу, на мула, на двоих верховых, на парней, шедших пешком, и стал загибать пальцы.

— С конного пфенниг, — сказал он. — Вот ты. И вот он. — Он кивнул на Клеща. — Два. С пешего полпфеннига. Пеших двое — стало быть, пфенниг. С воза два.

— Пять, — сказал Скорев.

— А мул?

— Мул в телегу не запряжён. Мул под писарем.

— Под писарем, — согласился сторож. — Стало быть, конный. Шесть.

Скорев посмотрел на мула. Мул был старый, серый, с отвислой губой и стёртыми боками, и Каспар сидел на нём боком, как сидят бабы, подобрав полы кафтана.

— Мул — не конь, — сказал Скорев.

— Мул — не пеший, — сказал сторож.

Это было верно, и спорить дальше было себе дороже. Скорев отсчитал шесть пфеннигов медью, одну к одной, сторожу на ладонь.

Шесть пфеннигов — это полкрейцера.

Полкрейцера стоило, чтобы уйти.

Сторож снял жердь с козел и отступил в сторону, и тут из-за телеги на настил вышла собака.

Это была Венделева собака, серая, лохматая, с проседью на морде и с порванным когда-то ухом. Её никто не звал. Её никто не кормил с того дня, как схоронили егеря, — во всяком случае, Скорев не видел, чтобы кормили. Она пришла из Вельде сама, держась шагах в трёх за задним колесом, и всю дорогу от Большой Вельде шла так, как будто так было уговорено.

Ханно не обернулся. Он шёл рядом с телегой, прижав к груди сожжённую руку, и смотрел перед собой.

— А с собаки? — спросил Клаус из телеги.

Сторож посмотрел на собаку.

— С собаки мостовщины не берут, — сказал он. — Собака божья тварь, у неё денег нет.

— У меня тоже нет, — сказал Клаус.

— Ты в телеге. Ты поклажа. С поклажи берут за воз.

Клаус подумал и остался доволен.

Через мост ехали медленно. Скорев сошёл с Хвата и повёл его в поводу, потому что настил был чинен кое-как, новыми плахами вперемешку со старыми, и две дыры по-прежнему были заложены жердями, и в одну из них конь мог бы поставить ногу, а Скорев не мог себе позволить коня, который поставит ногу в дыру. Телегу Ханс вёл под уздцы, и колёса по плахам стучали так, что под мостом отдавалось.

Вода внизу была высокая, бурая, и несла ветки. Дожди шли третий месяц.

На том берегу Скорев остановился и посмотрел назад.

Мост был старый, шагов в полтораста, на двух каменных быках и трёх деревянных козлах. За ним лежала баронская земля — серые поля под водой, гребёнка леса на севере, дым над Малой Вельде. Месяц назад какой-то мужик, вязавший хворост, сказал ему на этом самом месте: мост — он и есть межа. Тогда Скорев не знал, что это значит. Теперь знал. По ту сторону его все знали, и он знал всех, и кое-кто там был ему должен, а кое-кому был должен он. По эту сторону его не знал никто.

Это было и хорошо, и плохо, и он пока не решил, чего больше.

— Едем, Виктор, — сказал Клещ. — Чего встал? Насмотришься ещё.

— Не насмотрюсь, — сказал Скорев. — Я сюда не вер-

нусь.

— Все так говорят.

Скорев сел в седло — с правой стороны, как садился теперь всегда, потому что левой рукой взяться за луку не мог, — и они поехали на полдень.

Он считал на ходу. Это было привычнее, чем думать.

Денег было тридцать три талера в поясе. Отдельно, в тряпице, завязанной узлом, лежали два талера, которые господин Мерк по мировой платил матери Ханнеса Кёлера. Эти деньги были чужие, и Скорев их не считал своими, но вёз, и это было всё равно, что считать: чужое, которое везёшь, тоже весит. Чёрная имперская марка была зашита в подол стёганки, как была зашита с первого дня, и её он не считал совсем.

Людей было шестеро, с ним самим.

Клещ ехал на плохом коне, купленном у мельника за три талера. Конь был гнедой, вислозадый, с бельмом на левом глазу, и Клещ говорил, что конь видит одним глазом ровно столько, сколько ему, Клещу, нужно, а второй глаз ему ни к чему, потому что второй ноги у Клеща тоже нет, и так они друг друга стоят. Костыль с железным шипом, который насадил Финк, был приторочен у седла, как копьё.

Каспар ехал на муле и всё время что-то бормотал — то ли считал, то ли молился, то ли повторял про себя чужие бумаги.

Ханс шёл пешком. Ему было четырнадцать лет, и он просился идти пешком, и Скорев позволил, потому что парень,

который просится идти пешком, когда можно ехать в телеге, знает про себя что-то такое, чего не надо у него отнимать.

Ханно шёл рядом с телегой и молчал. Ему было семнадцать, и у него не было ни отца, ни деда, ни правой руки. Рука была, но работать она не будет никогда: кисть стянуло розовым блестящим рубцом, пальцы скрючило и срастило, и он носил её у груди, как носят птицу.

Клаус ехал в телеге лёжа, потому что нога у него была в лубке. Он лежал на соломе, а под соломой, на самом дне, в промасленной холстине, лежали четыре тетради.

— Это я, стало быть, самое тяжёлое, что в телеге есть? — спросил Клаус, когда Скорев их туда укладывал.

— Ты, — сказал Скорев.

— А котёл?

— Котёл легче.

Клаус был доволен и этим.

Сам Скорев был седьмым в этом счёте, если считать по-честному, и считать его надо было как полчеловека. Ребро справа не давало вдохнуть полной грудью, и каждый толчок в седле отдавался в боку тупо и длинно. Левая рука висела. В предплечье месяц назад вбило шесть колец кольчуги, и Ансельм их вынул и промыл, и рана затягивалась, но рука ниже локтя слушалась плохо, а выше плеча не поднималась совсем, потому что по плечу три дня назад прошёл клинок Липпольда. Колено к вечеру ломило так, как ломило всегда.

Одна нога у Клеща. Одна рука у Ханно. Одна рука у него.

Нога у Клауса. Каспар, который не дерётся, потому что так объявил сам, и никто его в этом не торопит. Ханс, которому четырнадцать.

Он посчитал руки и бросил считать, потому что счёт выходил такой, что дальше считать было незачем.

Развилку с четырьмя дубами они миновали ещё до моста, и на крайнем дубе, на толстом горизонтальном суку, ничего не висело. Скорев отметил это и не сказал ничего. На заставе у моста тоже никого не было: барон снял стражников, и они теперь стерегли уголь в лесу, а Гервиг стоял над двадцатью девятью.

За рекой, по левую руку, показалась деревня, вымершая от язвы. Он видел её месяц назад издали, с моста, и теперь дорога шла мимо самых плетней. Крыши провалились, двери стояли настежь, в одном дворе торчал из грязи колодезный журавль, и на нём сидела ворона. Ни собаки, ни дыма. Венделева собака забежала было в крайний двор, понюхала там что-то и вернулась к колесу.

— Чего она там? — спросил Ханс.

— Ничего, — сказал Клещ. — Там уже ничего нет. Собаки это знают лучше нас.

Ехали до темноты.

На ночь встали в деревне дворов на двенадцать, живой, но такой, что разница между ней и той, мёртвой, была не очень велика. Скорев выбрал избу побольше, у которой был хлев, и долго стоял у ворот, пока хозяин, мужик с бельмом

и с бородой, растущей клочьями, решал, пускать ли.

— Сколько вас? — спросил мужик.

— Шестеро. И кони.

— Шестеро — это шесть крейцеров.

— Шестеро — это три, — сказал Скорев. — По полкрейцера с головы. Овёс свой, вода твоя, спим в хлеву.

— В хлеву корова.

— Корова нам не мешает. Мы ей тоже мешать не станем.

Мужик подумал, посмотрел на меч, на одноногого, на рыжего парня с рукой у груди, и согласился на четыре. Скорев дал три с половиной, и они сошлись.

В избе пахло дымом и кислой капустой. Хозяйка, не говоря ни слова, поставила на стол горшок с репой и ушла за печь, к детям, и оттуда не выходила, и Скорев её больше не видел. Мужик сел к столу, потому что это был его стол, и смотрел, как они едят.

— Далёко едете? — спросил он наконец.

— В Кроненфельд.

Мужик перестал жевать.

— По южной дороге?

— По какой же ещё.

— По южной дороге нынче не ездят, — сказал мужик. — Нынче на южной дороге волки.

— Зима, — сказал Скорев. — Зимой волки везде.

— Не те волки, — сказал мужик и понизил голос, хотя слышать его, кроме них, было некому. — Не звериные. Те,

что в шкурах. Обозы режут. С Михайлова дня три обоза взяли, на соляной дороге, у Дрейвеге. Возчиков — всех. Пятерых нашли, так у них, говорят, горло перегрызено.

— Перерезано, — сказал Клещ, не поднимая глаз от горшка.

— Перегрызено, — упрямо сказал мужик. — Мужики видели. Они, говорят, по ночам воют. Которые выходят в поле — те назад не приходят. У нас тут говорят, это оборотни.

Он перекрестился, и Клаус, сидевший на лавке с вытянутой ногой, перекрестился тоже, на всякий случай.

Скорев доел репу.

— А соль почём в Кроненфельде? — спросил он.

Мужик не понял.

— Соль, — повторил Скорев. — Почём нынче соль?

— Соль, — сказал мужик, — втрое против прошлой зимы. Я в Мартынов день за мерку отдал, сколько прошлый год за три отдавал. Кто ж её повезёт, соль, коли на дороге волки.

— Втрое, — сказал Скорев.

— Втрое.

Скорев кивнул и больше ничего не спросил.

Когда легли в хлеву, на соломе, рядом с коровой, которая вздыхала в темноте тяжело и тепло, Каспар долго ворочался, а потом сказал шёпотом:

— Экселенц.

— Ну.

— Вы про оборотней не спросили. Вы про соль спросили.

— Оборотни мне ни к чему, — сказал Скорев. — Оборотням соль не нужна. А кто-то сейчас продаёт соль втрое против прошлой зимы, и кто-то её втрое покупает, и тот, кто продаёт, на этой зиме зарабатывает больше, чем за три прошлых. Вот это мне интересно.

— Думаете, они с солью заодно?

— Я ничего не думаю, — сказал Скорев. — Я посчитал. Кому-то это выгодно. Кому — посмотрим.

Каспар помолчал.

— Вы, экселенц, страшный человек, — сказал он. — Все про оборотней, а вы про цену.

— Спи.

Каспар уснул. Скорев не спал долго, потому что ребро не давало лечь ни на один бок, и он лежал на спине, глядя в темноту, где над ним в дыре соломенной крыши иногда показывалась звезда, и слушал, как дышит корова, как сопит во сне Клаус и как за стеной ходит собака — не ложится, а ходит, туда и обратно, вдоль плетня. Сторожит, хотя никто ей этого не велел.

Утром пошёл мокрый снег.

Он шёл крупными хлопьями, таял на лету и ложился на дорогу серой кашей, и к полудню колёса по ступицу ушли в эту кашу, и телегу на подъёмах приходилось толкать. Толкали Ханс и Ханно, Ханно — плечом, одной рукой упираясь в задок. Клещ ругался на коня. Каспар ругался на мула. Мул молчал.

После полудня начался лес.

Лес был еловый, старый и сырой, и дорога вошла в него, как входят в тоннель: ели стояли по обе стороны стеной, ветки смыкались над головой, снег сюда почти не долетал, и было тихо и сумрачно, как в сенях. Пахло хвоей и мокрой корой. Колёса тут шли легче, потому что под хвоей земля была плотнее, и все немного повеселели, и Клаус в телеге начал было свистеть, и Клещ на него рявкнул.

Скорев ехал впереди.

Он ехал и смотрел, как смотрел всю жизнь: не на дорогу, а по сторонам дороги, туда, где можно стоять и ждать. Тут можно было стоять везде. Тут можно было поставить роту, и рота бы не была видна до того мига, когда выйдет.

Шагов через триста дорога пошла под уклон, к ручью, и там, внизу, ельник подступал совсем близко, и справа лежала большая выворотень — ель, упавшая с корнем, так что корни стояли стеной в рост человека, облепленные глиной.

И тут сжало.

Сжало под грудиной коротко и сильно, так, как сжимало всегда, — не болью, а будто кто-то взял изнутри в кулак и подержал.

Скорев остановил коня.

Он не обернулся. Он сидел и смотрел вперёд, на ручей, на выворотень, на ельник, и думал очень быстро, потому что думать медленно было некогда.

Где? Не знает. Сколько? Не знает. Чутьё никогда не гово-

рило где и сколько. Оно говорило только одно: здесь ждут. Остальное было его дело.

Выворотень справа — это первое, что видно. Значит, за выворотнем стоит тот, кого ставят первым, — стрелок, если есть стрелок. Слева ельник гуще — значит, оттуда выйдут, когда стрелок выстрелит. Впереди ручей и подъём. Телегу на подъём быстро не вытащить. Назад развернуть на такой дороге — минута, а минуты нет.

Значит, стоять тут.

— Стой, — сказал он, не повышая голоса. — Все стоять. Не оборачиваться. Слушать меня.

Сзади все замолчали.

— Клаус. Ты в телеге — лежи и не высовывайся. Камни у тебя где?

— В мешке, — сказал Клаус шёпотом. — Я набрал на броде.

— Достань мешок и лежи. Каспар. Слезай с мула и лезь под телегу. Тетради — с тобой. Твоя работа — бумага.

Каспар слез, не говоря ни слова, и Скорев услышал, как он шуршит соломой.

— Клещ. Влево, к ельнику, на десять шагов, и стой там. Как выйдут слева — твои.

— Мои, — сказал Клещ и потянул из-за седла костыль с шипом.

— Ханно. За заднее колесо. С собакой.

Ханно отошёл за колесо, и собака легла у его ног.

— Ханс. Ко мне.

Ханс подошёл к стремени. Лицо у него было белое, но руки не тряслись.

Скорев снял с седла арбалет.

Арбалет был его собственный, ещё отставного солдата, — ложе жёлтого дерева, плечи из трёх стальных пластин, ворот-ключ. Хороший арбалет. Только взвести его Скорев не мог: чтобы крутить ворот, надо упереть арбалет в стремя и держать, а держать было нечем, левая рука не держала.

— Крути, — сказал он и сунул Хансу арбалет и ворот. — Как я показывал. Упри в землю, ногу в стремя, и крути. Не торопись. Я считаю.

Ханс упёр арбалет в землю, надел ворот и начал крутить.

— Раз, — сказал Скорев. — Два. Три.

Он считал вслух, ровно, как считают шаги на плацу, потому что парень, которого торопят, крутит вдвое медленнее, а парень, при котором считают, крутит столько, сколько нужно.

На двенадцати тетива встала на орех.

— Болт, — сказал Скорев.

Ханс подал болт. Скорев положил его в желобок одной правой и положил арбалет на луку седла.

И в этот момент из-за выворотня выстрелили.

Болт ударил в борт телеги, в доску, на палец от того места, где под телегой лежал Каспар, и Каспар под телегой сказал «ох» и больше ничего не сказал.

Скорев увидел стрелка. Тот вышел из-за корней наполовину — в чём-то сером, лохматом, на голове звериная морда, — и стал взводить снова: козья ножка, рычаг, на это ему надо было секунд шесть.

Этих шести секунд Скорев ждал.

Человек, который взводит арбалет, ничего не видит и ничего не может. Он смотрит на свои руки и на тетиву. Это Скорев знал лучше всего на свете.

Он выстрелил с седла, с луки, почти не целясь, с двадцати шагов. Болт вошёл стрелку под ключицу, туда, где шкура расходилась на груди, и тот сел за корнями и больше не вставал.

— Крути, — сказал Скорев и сунул арбалет Хансу. — Раз. Два.

Тут вышли.

Вышли с обеих сторон, как он и думал: двое слева, из ельника, трое справа, из-за выворотня. Все в волчьих шкурах, накинутых поверх стёганок, с волчьими мордами на головах, как с капюшонами, и с копьями. Вышли не с криком, а молча, и пошли быстро, пригибаясь, и это было хуже крика: кто молчит, тот знает, что делает.

— Шесть, — считал Скорев. — Семь.

Слева Клещ дал коню шпоры.

Конь у Клеща был плохой и видел одним глазом, но с места пошёл, как идут боевые, и Клещ, держась коленом за седло, а культёй за ремень, перекинул костыль, как перекиды-

вают копьё, и ударил первого, не доехав до него, — железным шипом в лицо, под волчью морду. Тот упал на спину, а Клещ проехал дальше, развернул коня на месте и заорал на второго так, что второй присел.

— Восемь. Девять. Десять.

Справа трое шли к телеге.

Первый уже был в десяти шагах. Это был длинный, в шкуре до колен, и копьё он держал низко, на живот, — к Скореву, сидевшему в седле, — и шёл ровно, как ходят на коня, и Скорев видел, что он не боится.

— Одиннадцать. Двенадцать. Болт.

— Есть, — сказал Ханс.

— Стреляй сам, — сказал Скорев.

Ханс поднял арбалет.

Он поднял его снизу, от сапог, как Скорев учил, а не опускал сверху, и Скорев увидел, как парень задержал дыхание, и успел подумать, что сейчас тот промахнётся, потому что в первый раз все промахиваются, — и Ханс выстрелил.

Длинного отбросило назад, будто его дёрнули за шкуру. Он упал на спину и копьё упало рядом, и он лежал, и ноги у него ещё шли, ещё делали шаги, лёжа, по мокрой хвое.

Ханс смотрел на него.

Он смотрел дольше, чем можно, и Скорев видел это, и видел, что второй справа уже бежит к телеге, и не стал кричать на парня. Он вынул меч.

Меч он держал правой, и только правой, и это было плохо,

потому что меч этот был длинный и тяжёлый, рассчитанный на то, чтобы его держали и правой, и левой, когда надо. Он съехал с седла — неловко, с правой стороны, ребро дёрнуло так, что потемнело в глазах, — и встал между телегой и тем, вторым.

Второй был плотный, бородатый, с волчьей мордой, сбитой набок, и бил он копьём часто и коротко, тычками, и Скорев отводил тычки мечом, не отбивая, а отводя, потому что отбить сил не было. Раз. Другой. Третий тычок прошёл по кольчуге на боку, и кольчуга выдержала, но ребро от удара хрустнуло ещё раз, и Скорев зашипел сквозь зубы.

«Вот так и кончится, — подумал он очень отчётливо. — Не от болта, не от меча. От мужика с копьём, на лесной дороге, за четыре тетради».

Из телеги вылетел камень.

Он вылетел не в того, кто был перед Скоревым, а в третьего, который шёл следом и уже заносил копьё над задком телеги, — и попал ему в лоб, под волчью морду, со звуком, с каким бьют по горшку. Третий выронил копьё и сел.

— На! — заорал из телеги Клаус и швырнул второй.

Второй пролетел мимо.

Бородатый перед Скоревым на миг повернул голову на крик, и Скорев ударил его не мечом, а эфесом, в лицо, снизу, как бьют кулаком, — потому что для меча нужно было место и замах, а для эфеса не нужно ничего. Бородатый отшатнулся, и тут из-под телеги вылетела собака.

Она вылетела молча, без единого звука, без лая, без рыка, и взяла бородатого за ногу повыше сапога, и рванула, и бородатый упал на колено, и Скорев ударил его ещё раз, эфесом, по голове, и тот лёг.

Скорев постоял над ним.

Потом он обернулся к третьему, тому, которого сбил камень.

Третий сидел на земле, держась за лоб, и сквозь пальцы у него текло, и он мотал головой, как бык, которого ударили обухом.

Над ним стоял Ханно.

Ханно стоял над ним с ножом в левой руке, и Скорев не видел, когда парень успел выйти из-за колеса и когда успел взять нож. Ханно посмотрел на сидящего сверху вниз, коротко, как смотрят на скотину, которую надо резать, — и, не сказав ни слова и ни у кого не спросив, взял его сожжённой рукой за волчью морду, оттянул голову назад и перерезал горло. Левой рукой, одним движением, справа налево.

Потом он отпустил морду, и тот повалился набок.

Ханно вытер нож о волчью шкуру — сначала одной стороной, потом другой, — сунул его за пояс и отошёл обратно к колесу.

Скорев смотрел на него.

«Это надо запомнить», — подумал он.

Он не знал ещё, что именно надо запомнить, и не стал разбираться. Он просто положил это туда, где у него лежали

вещи, которые надо запомнить, и обернулся к Клещу.

Слева всё было кончено. Тот, которого Клещ ударил шипом, лежал на спине и не двигался. Второй, тот, на которого Клещ заорал, убегал по ельнику, проламываясь сквозь ветки, и шкура на нём цеплялась за сучья, и он её на бегу скинул и побежал дальше без неё, в одной стёганке.

— Догнать? — заорал Клещ.

— Нет, — сказал Скорев.

— Уйдёт!

— Пусть уходит. Ты на одной ноге, а он на двух. Тебе велено было стоять.

Клещ выругался длинно и с удовольствием и повернул коня.

Стало тихо.

В ельнике где-то сорвался с ветки снег и упал с мягким стуком. Под телегой шевельнулся Каспар. Длинный, которого застрелил Ханс, перестал перебирать ногами.

Скорев постоял, держась за телегу, и посчитал.

Шестеро. Стрелок за выворотнем — убит. Тот, слева, со шипом в лице, — убит. Длинный — убит. Тот, которого Ханно, — убит. Один убежал. И бородатый лежит у колеса, и собака стоит над ним и держит его за сапог, не отпуская и не рыча.

Четверо мёртвых. Один живой. Один ушёл.

Своих — ни одного.

Это было так много, что в это трудно было поверить, и

он не стал верить, а пошёл проверять. Клаус в телеге был цел и сидел на соломе с камнем в руке и с лицом злым и совершенно счастливым. Ханс стоял, где стоял, с арбалетом, и смотрел на длинного. Каспар вылезал из-под телеги, держа в обеих руках холстину с тетрадями, и был весь в грязи и в соломе, и руки у него тряслись так, что холстина ходила ходуном.

— Целы? — спросил Скорев.

— Целы, экселенц, — сказал Каспар. — Тетради целы. Я на них лёг. Как на ребёнка.

— Положи обратно.

Каспар полез в телегу.

Скорев подошёл к Хансу.

— Хорошо стрелял, — сказал он.

Ханс не ответил. Он смотрел на длинного.

— Ханс.

— Он ногами шёл, — сказал Ханс. — Лёжа. Я видел.

— Видел, — сказал Скорев. — Это всегда так. Ноги не знают. Им никто не сказал.

Ханс кивнул, будто понял, и, может быть, понял.

— Арбалет взведи, — сказал Скорев. — И держи взведённым, пока не скажу. Это теперь твоя работа.

Ханс уткнул арбалет в землю и начал крутить ворот, и считал сам, шёпотом, и Скорев отошёл.

Бородатый у колеса пришёл в себя, пока они разбирались. Он лежал на боку, собака держала его за ногу, и он не дёр-

гался, потому что понимал собак, и смотрел на Скорева одним глазом — второй заплыл от удара эфесом.

Скорев присел перед ним на корточки. Ребро не дало присесть по-людски, и он присел наполовину, опершись на меч.

— Отпусти, — сказал он собаке.

Собака не отпустила.

— Ханно, — сказал Скорев. — Скажи ей.

Ханно что-то сказал, коротко, не по-людски, — щёлкнул языком, — и собака отпустила и отошла к нему.

— Ну, — сказал Скорев бородатому. — Поговорим.

— Режь, — сказал бородатый. — Чего говорить.

— Резать я тебя не стану. Я тебя спрошу. А ты ответишь, и я заплачу.

Бородатый посмотрел недоверчиво.

Скорев полез в кошель — не в пояс, а в кошель, где у него было немного мелочи, — и достал полталера. Огляделся. Рядом лежала доска, отколотая болтом от борта телеги. Он положил на неё монету и подвинул к бородатому.

— Чтоб не в грязь, — сказал он.

Бородатый посмотрел на монету.

Монета лежала на доске и была настоящая, серебряная, и бородатый, судя по лицу, давно уже не видел серебра так близко.

— Ты кто? — спросил Скорев.

— Ульман я, — сказал бородатый. — Вальтер Ульман. Из-под Тройенбурга.

— Солдат?

— Был.

— Чей ты теперь?

Ульман помолчал.

— Мы при сержанте, — сказал он. — Сержант у нас есть.

— Как звать?

— Йост.

— Сколько вас?

— Нас тут шестеро шло.

— Я не про тут спрашиваю.

Ульман посмотрел на монету и не ответил.

— Ладно, — сказал Скорев. — Сколько там всех — потом. За что шли?

— За тобой.

— За мной — это я вижу. За что? Что вам за меня дают?

Ульман облизнул разбитые губы.

— За книги — сто талеров, — сказал он. — Кто принесёт. За тебя — тридцать. Сказано, ты старый, на тёмном коне, с золотой рукоятью, и рука у тебя одна. За писаря — пять. За прочих — по талеру. За каждого. Кто принесёт.

Скорев слушал и кивал.

— За книги сто, — повторил он. — А за меня тридцать.

— Тридцать.

— Кто даёт?

— Не знаю, — сказал Ульман. — Сержант знает. Нам сказали — человек из города.

— Из какого города?

— Из Кроненфельда. Сказали, едешь в Кроненфельд с телегой, и при тебе одноногий, и писарь на муле, и пацаны. Сказали, через лес пойдёшь, другой дороги нет. Мы тут третий день стоим.

— Третий день, — сказал Скорев.

— Третий. Я с того дня ног не чую.

Скорев посидел на корточках, сколько мог, и встал.

Он стоял и смотрел на дорогу, на ельник, на выворотень, где лежал стрелок, и думал.

Он думал, что за книги дают сто, а за него тридцать. Значит, книги стоят втрое против него. Значит, если выбирать, кого спасать, когда выйдут в другой раз, — спасать надо книги, а не его, и он это понимал так же ясно, как понимал всегда цены. Это было даже немного обидно, и он отметил про себя, что ему обидно, и это его развеселило, потому что обижаться на цену было глупо: цена — единственная вещь, которая не врёт.

«Втрое против меня, — подумал он. — Значит, их и беречь надо втрое».

И ещё он думал, что они знали. Знали, что он едет в Кроненфельд, знали, что с телегой, знали, сколько с ним людей и каких. Это было не удивительно: он сказал это вслух при всех, в задней комнате трактира Аарона, и потом ещё раз Гервигу на дороге, и знал об этом каждый, кто хотел знать. Но они знали это за три дня. Они стояли тут третий день.

Значит, слово ушло из Вельде в тот же вечер, когда он его сказал, и ушло не в Гербштадт, а на юг, туда, куда он едет.

Туда, где его ещё нет, а цена ему уже есть.

— Каспар, — сказал он.

— Тут, экселенц.

— Ты слышал?

— Слышал, — сказал Каспар. Он стоял у телеги, держась за борт, и лицо у него было серое. — Пять талеров, экселенц. За меня пять. Это обидно.

— Это немного, — согласился Скорев.

— Немного! Я десять лет при суде писал. Я по-латыни умею. Пять талеров!

— Зато за прочих по талеру.

Каспар посмотрел на Клеща, на Ханса, на Ханно.

— Ну, разве что, — сказал он и как будто немного утешился.

С мёртвыми разобрались быстро. Везти их было не на чем, телега была полна, и Скорев велел оттащить их с дороги в овраг у ручья. Тащили Ханс и Ханно, Ханно — одной левой, за ворот, волоком, и по хвое за ним оставалась тёмная полоса. С мёртвых сняли всё, что можно было снять: три копья, ножи, кошели — в кошелях оказалось на всех семь крейцеров и два пфеннига, и это было так мало, что Клещ засмеялся. С выворотня Ханс принёс арбалет стрелка — лёгкий, с козьей ножкой, с ложем, обмотанным бечёвкой, — и Скорев осмотрел его и отдал Хансу.

— Твой, — сказал он. — Мой тебе тяжёл, а этот в самый раз. Козью ножку взводить быстрее, чем ворот. Сам взведёшь, без меня.

Ханс взял арбалет обеими руками и ничего не сказал, но покраснел.

И ещё сняли шкуры.

Шкуры были хорошие, волчьи, целые, с мордами, и пахли зверем и чужим потом. Скорев сперва хотел их бросить, а потом посмотрел на небо, с которого опять начинало сыпать мокрым, и на Клауса в телеге, у которого зуб на зуб не попадал, и передумал.

— Берём, — сказал он. — Зима.

Клещ взял одну, повертел, накинул на плечи поверх своего плаща, а волчью морду надвинул себе на лоб.

— Ну? — сказал он. — Похож?

Он сидел на кривом гнедом коне, одноногий, с серьгой в ухе, в волчьей шкуре и с волчьей мордой на голове, и выглядел так, что Клаус в телеге захохотал, а потом испугался собственного смеха.

— Теперь волки — мы, — сказал Клещ.

— Сними, — сказал Скорев. — Свои подстрелят.

— У нас тут своих нет.

— Тем более сними.

Клещ снял морду, но шкуру оставил.

Шкур было шесть: пять с мёртвых и одна, которую бросил тот, что убежал. Их сложили в телегу, под Клауса, поверх

соломы, и Клаус сразу перестал стучать зубами и сказал, что лучше постели у него не было никогда.

Ульмана посадили на мула позади Каспара, связав руки, и Каспар был этим очень недоволен, потому что Ульман был тяжёлый и от него пахло, а мул и так был старый. Но идти Ульман не мог: собака прокусила ему ногу до кости, и нога распухала на глазах.

— Ты его куда? — спросил Клещ, когда тронулись. — В Кроненфельд?

— В Кроненфельд.

— Зачем? Он своё сказал. Брось его тут, в лесу, его свои подберут. Или не подберут.

— Он мне ещё пригодится, — сказал Скорев.

— На что?

— Он свидетель, — сказал Скорев. — Он мне тридцать талеров за мою голову назвал при четверых. Это бумага, которую нельзя сжечь. Её только кормить надо.

Клещ посмотрел на него, на Ульмана, на мула, и пожал плечами.

— Как знаешь, — сказал он. — Ты у нас считаешь.

До темноты выбрались из леса. Ночевали в сарае у дороги, в котором раньше, наверное, сушили сено, а теперь не сушили ничего, потому что сено гнило на корню, и лежать там было мокро и холодно, но был хоть верх над головой. Развели огонь посреди, на земле, и Скорев велел жечь его маленьким, так, чтобы видно было только им самим, и по-

ставил собаку у двери, а Ханса с арбалетом — до полуночи, а после полуночи себя.

Он сидел у двери, когда все уснули, и смотрел в темноту, и думал о том, что за один день у него в артели стало трое, которые убили человека, а утром не было ни одного. Ханс. Ханно. Клаус, если считать камень, — тот, в кого он попал, уже не встал, а встал бы — так не прожил бы и минуты. Клещ не в счёт: Клещ тридцать лет этим жил, и сам он, Скорев, не в счёт тоже.

Трое за один день. Мальчишка четырнадцати лет, мальчишка двенадцати и парень семнадцати с одной рукой.

Он подумал, что надо бы что-то об этом подумать — что-то правильное, что положено думать в таких случаях. И не нашёл, что. Ничего правильного тут не было. Было вот что: утром у него было шестеро, и драться не умел никто. Вечером у него было шестеро, и трое из них уже убили. Это было лучше. На этой дороге это было лучше, и он это знал.

Ульман лежал у стены, связанный, с распухшей ногой, и не спал. Скорев видел, как блестит в темноте его один открытый глаз.

— Не спишь? — спросил Скорев.

— Нога, — сказал Ульман.

— Утром перевяжу.

Ульман помолчал.

— Ты зря меня везёшь, — сказал он.

— Почему?

— Тебе в Кроненфельд не надо, — сказал Ульман. — Ты не понял, что ли? Тебя там ждут. Тебя там все ждут.

Скорев не ответил.

Он сидел у двери и смотрел в темноту, туда, где за полем, за лесом, за десятью милями мокрой зимней дороги лежал город, в котором его ещё никто не видел в лицо и в котором ему уже была назначена цена — тридцать талеров, втрое меньше, чем за четыре тетради, на которых спал Клаус.

— Это хорошо, — сказал он наконец.

— Чего ж хорошего?

— Когда ждут — значит, считают, — сказал Скорев. — А кто считает, тот торгуется. Спи.

Ульман закрыл глаз.

Скорев сидел до света и думал о том, что его уже посчитали. Посчитали его, его людей, его телегу, его мула и его писаря, и назначили каждому цену, и цены были дешёвые, обидные, как всякая чужая цена. Нас уже посчитали, думал он. Осталось узнать, кто считал.

Глава вторая. Две монеты

Кроненфельд показался к полудню третьего дня.

Сперва показался не город, а дым. Дым стоял над холмами низко и широко, не столбами, как над деревнями, а сплошным серым пологом, и Скорев сначала подумал, что горит что-то большое, а потом понял, что это просто город, в котором топят сотню печей сразу, и дыму в сырую погоду некуда подняться.

Потом показалась скала.

Она торчала над городом, как торчит больной зуб: серая, голая, с обрывом на север, и на ней стоял замок — не такой, как баронский в Вельде, на бугре, со рвом по колено, а настоящий, каменный, с двумя башнями и с длинной стеной, спускавшейся по склону вниз, к городу. На одной башне висело знамя, мокрое и потому неразличимое.

— Фогтей, — сказал Ульман из-за спины Каспара. — Ландфогт там сидит.

— Какой ландфогт?

— Ну какой. Господин фон Дальхайм. Дядя молодого графа.

Скорев кивнул и ничего не сказал.

Потом показалась стена. Стена была старая и чиненая, и чинили её, видно, по частям и в разные годы, потому что камень шёл то серый, то бурый, то вовсе кирпич, а в одном

месте, у угловой башни, пролом был заложен брёвнами и обмазан глиной. Ворота стояли открытые. Перед воротами на шесте висела доска, на доске что-то было написано, и Скорев прочёл издали: «Пошлина. По указу господина ландфогта».

— Читаешь? — спросил Клещ.

— Глаза читают, — сказал Скорев.

Клещ хмыкнул. Он этого не понимал и не хотел понимать.

У ворот стоял стражник в мокром плаще, с алебардой, и под навесом сидел писарь при книге, маленький, с красным от холода носом, и при писаре была доска с гвоздями, на которых висели связки бирок.

— Откуда? — спросил писарь, не поднимая головы.

— С севера. Из Вельде.

— Сколько вас?

Скорев посчитал вслух, чтобы писарь слышал, как он считает:

— Шестеро. Один связанный — седьмой. Два коня, мул, телега.

Писарь стал считать в книге.

— С человека полкрейцера, — сказал он. — Шестеро — три. Связанный — он кто?

— Разбойник. Взят на дороге, в лесу, вчера. Везу к судье.

Писарь в первый раз поднял голову и посмотрел на Ульмана.

— Разбойник не человек, — сказал он. — С разбойника пошлины не берут. Его сдают. Дальше. С коня крейцер —

два коня, два. Мул — конь. Три. С телеги два. Итого восемь. И за оружие — по крейцеру с каждого, кто при железе.

— При железе все, — сказал Скорев.

— Значит, ещё шесть. Четырнадцать крейцеров.

Скорев отсчитал четырнадцать крейцеров. Это было дорого, и он подумал, что за мост он платил полкрейцера, а за ворота четырнадцать, и что город, видно, считает себя стоящим в двадцать восемь раз дороже моста. Может быть, так и было.

— Имя, — сказал писарь и обмакнул перо.

— Виктор Скореф.

Писарь начал писать и остановился.

Остановился он ненадолго — на полвздоха, не больше, — но Скорев смотрел на его руку и видел. Перо зависло над бумагой, капля чернил набухла на кончике, и писарь стряхнул её в сторону, обратно в чернильницу, и дописал.

— Пиши крупнее, — сказал Скорев.

Писарь поднял на него глаза.

— Чего?

— Имя пиши крупнее, — сказал Скорев. — Скореф. С людьми. Чтобы было видно.

Писарь посмотрел на него, как смотрят на дурака, и ничего не сказал, и снова опустил голову. Но Скорев видел, что имя в книге он обвёл ещё раз, по тем же буквам, и оно вышло жирнее прочих.

Клещ, когда отъехали от ворот, догнал его и поехал рядом.

— Ты зачем ему это?

— Затем, что он и так скажет, — сказал Скорев. — Ты видел, как он перо держал? Ему за моё имя уже заплачено. Он вечером пойдёт и скажет: въехал. Так пусть уж скажет громко.

— А тебе с этого что?

— Мне с этого то, что в книге у ворот теперь написано: Скореф въехал в город на пятый день по Мартыновом, с людьми, при оружии, и пошлину заплатил. Если меня через неделю найдут в канаве, будет видно, что я в город въехал. А выехал ли — уже другой вопрос. Свидетели не защита, Диего. Но свидетели дороже, чем ничего.

— Хитрый ты стал, — сказал Клещ. — Раньше ты таким не был.

— Раньше меня по голове не били.

Клещ засмеялся.

Город был большой и пустой.

Это Скорев понял не сразу. Сперва он видел только улицы — кривые, узкие, мощёные булыжником через раз, с канавой посередине, по которой текло всё, что выливали из окон, — и дома, нависавшие верхними этажами над улицей так, что наверху между ними оставалась полоса неба шириной в две ладони. Потом он стал замечать двери. Двери стояли заколоченные крест-накрест: одна, другая, через три дома ещё одна. На иных досках было мелом нарисовано что-то — крест, круг, — и мел размыло дождём. В одном окне второго эта-

жа ставня висела на одной петле, и окно было тёмное, и за окном было видно, что внутри нет ничего — ни стола, ни лавки, ни человека.

— Язва, — сказал Ульман, хотя его никто не спрашивал. — Три года как. Полгорода снесли.

— Полгорода, — повторил Скорев.

— Половину. В нашем конце так и больше.

Улица вывела на площадь. На площади было людно — было видно, куда ушли те, кто остался жить: торговали из-под навесов рыбой, кожей, глиняными горшками, мокрой капустой, и везде, на каждом третьем прилавке, стояли мешки с солью, серой, крупной, в мешках и в коробах, и цена на соль, которую выкрикивали торговки, была такая, что Скорев сперва подумал, что ослышался.

— Почём? — спросил он у одной.

— Четыре пфеннига мерка, господин. Берите, дёшево. Кто ж её нынче купит, всё одно в амбаре мокнет.

Четыре пфеннига.

Мужик в деревне в двух днях отсюда отдал за ту же мерку втрое против прошлой зимы.

Скорев поблагодарил и поехал дальше. Он не сказал ничего, но Каспар, ехавший за ним на муле, сказал за него, шёпотом:

— Экселенц. Тут соль дешёвая.

— Вижу.

— А там дорогая.

— Вижу, Каспар.

— Значит, её не возят.

— Значит, не возят, — сказал Скорев. — Сидит тут, мокнет, и цена падает. А там, куда её не везут, растёт. Кто-то держит дороги. Город сидит на соли, как курица на яйцах, и не может её продать. Вот тебе и волки.

Судью нашли не сразу. Сперва их послали к ратуше, от ратуши — в суд, из суда — обратно в ратушу, потому что судья был на обеде, и обед у судьи был долгий. Скорев ждал в сенях ратуши, на лавке, полтора часа, и за эти полтора часа мимо него прошло человек двадцать, и каждый посмотрел сперва на Ульмана, а потом на меч Скорева, и ни один не спросил ничего.

Судья был тучный, лет пятидесяти, в мехах поверх чёрного платья, и от него пахло вином и чесноком. Он сел за стол, велел писарю приготовить перо и спросил:

— Ну?

Скорев рассказал. Коротко, как докладывают: лес, выворотень, шестеро в шкурах, четверо мёртвых, один ушёл, один вот.

— Шкуры, — сказал судья. — Волки, стало быть.

— Люди, — сказал Скорев. — Люди в шкурах.

— Это мы знаем, что люди, — сказал судья с досадой. — Это мужики думают, что не люди. Мы-то знаем. — Он повернулся к Ульману. — Признаёшься?

Ульман посмотрел на Скорева.

Скорев смотрел на него ровно.

— Признаюсь, — сказал Ульман.

— Что разбойничал на дороге.

— Признаюсь.

— Что шёл убивать проезжих.

— Его шёл, — сказал Ульман и кивнул на Скорева. — Не проезжих. Его.

Судья поморщился.

— Это всё одно.

— Не всё одно, — сказал Скорев. — Ваша милость, я прошу записать, что он сказал. Всё, что сказал. Не «разбойничал на дороге», а за что шёл и сколько за это обещано.

Судья посмотрел на него.

— Это зачем?

— Затем, что ему за меня тридцать талеров обещали. А за мои бумаги сто. И обещал человек из этого города. Если его сейчас повесят, а это не будет записано, то тот, кто обещал, завтра пообещает другим. А если будет записано — может, и подумает.

В комнате стало тихо. Писарь держал перо над бумагой и не писал.

Судья смотрел на Скорева долго, и Скорев видел, как он решает, и видел, что решение ему не нравится.

— Ты кто такой, чтоб мне указывать, что писать?

— Никто, — сказал Скорев. — Я его привёл. И я свидетель. А вы судья, и это ваша книга. Только если в вашей кни-

ге не будет написано, что в вашем городе за голову проезжего дают тридцать талеров, то это не значит, что не дают. Это значит только, что в книге не написано.

Судья помолчал ещё.

Потом он махнул рукой писарю.

— Пиши, — сказал он. — Пиши, что он скажет. Слово в слово. И пусть потом не говорят, что суд в Кроненфельде глухой.

Ульман говорил, и писарь писал. Ульман повторил всё, что сказал в лесу: сто за книги, тридцать за голову, пять за писаря, по талеру за прочих, человек из города, сержант Йост знает, кто. Судья слушал, глядя в окно, и, когда Ульман сказал «человек из города», судья не повернул головы, но пальцы у него на столе сжались и разжались.

— Всё? — спросил судья, когда Ульман замолчал.

— Всё.

— Завтра на рассвете, у Южных ворот, — сказал судья. — Исповедь сегодня. Уведите.

Ульмана увели. Он шёл, хромая на прокушенную ногу, и у двери обернулся и посмотрел на Скорева, и Скорев не отвёл глаз.

— Вот что, — сказал судья, когда дверь закрылась. — Ты привёл разбойника к суду. За это у нас платят. Гильдия платит, из разбойничьей кассы, — талер за голову, приведённую к суду, живую или мёртвую. Завтра у виселицы получишь от гильдейского писаря.

— Талер, — сказал Скорев.

— Талер. За живого — как за мёртвого, у нас без разницы. — Судья посмотрел на него внимательнее. — А четверо, говоришь, в лесу лежат?

— В овраге у ручья.

— Привёз бы — было бы пять талеров, — сказал судья. — Мёртвых тоже вешаем. На дороге, чтоб видели.

— Не на чем было везти.

— В другой раз будет на чём, — сказал судья. — Если ты этим ремеслом думаешь жить.

Скорев не ответил.

Он вышел из ратуши на площадь, где уже темнело, и долго стоял у коновязи, держась за седло, и думал о том, что за голову Ульмана ему дадут талер, а за его, Скорева, голову Ульману обещали тридцать, и что, если считать честно, он сегодня продал человека за одну тридцатую того, за что этот человек хотел продать его. И что это, должно быть, справедливо. И что справедливость эта его ничуть не утешает, но и не мучает, а просто лежит в счёте, как лежит в счёте всякая другая цифра.

Ночевали на постоялом дворе у Северных ворот, потому что больше было негде. Двор был набит солдатами — зимовали, кто без места, — и шумел до полуночи, и за две комнаты под крышей, за овёс, за свечу и за место для телеги хозяин взял семнадцать крейцеров, не торгуясь, потому что знал, что торговаться ему нет нужды.

— Семнадцать, — сказал Клещ, когда хозяин ушёл. — Семнадцать крейцеров за конуру с клопами. Это ж грабёж.

— Это цена, — сказал Скорев. — Грабёж — это когда без спросу.

— А тут спросили?

— Тут нас спросили, хотим ли мы ночевать под крышей.

Клещ плюнул в угол и полез на лавку.

Скорев дождался, пока все устроятся, взял тряпицу с двумя талерами Мерка и пошёл.

Кожевенную улицу он нашёл по запаху.

Запах стоял над ней такой, что его было слышно за два квартала: кислый, тяжёлый, гнилой, — запах дубильных ям, вымоченных шкур и того, чем эти шкуры вымачивают. Улица шла под уклон к ручью, и по ручью текла вода цвета ржавчины. Дома тут были ниже и беднее, чем у площади, и многие стояли заколоченные.

Дом Кёлеров ему показали у колодца. Мужик, набиравший воду, посмотрел на него, на меч, на перевязанную руку, и сказал: «Вон, шестой от угла, с синей дверью», — и больше ничего не спросил и ничего не прибавил.

Дверь была не синяя, а когда-то синяя, и краска с неё облезла почти вся. Скорев постучал.

Открыли не сразу.

Открыла женщина — немолодая, в тёмном, с платком на голове, — и смотрела на него, держа дверь так, чтобы её можно было сразу закрыть.

— Вам кого? — спросила она.

— Здесь живёт мать Ханнеса Кёлера?

Она ничего не ответила. Она смотрела на него, и он видел, что она уже знает. Не знает, что он скажет, но знает, зачем он пришёл, — так, как знают это женщины, к которым приходит чужой мужчина с мечом и спрашивает про сына.

Скорев говорил то, что приготовил ещё в дороге. Он приготовил это давно и много раз повторил про себя, потому что знал, что, если не приготовить, скажется не то.

— Ваш сын служил у барона фон Вельде, в стражниках, — сказал он. — Месяц назад он пошёл со мной в одно дело. Он пошёл сам. Его никто не гнал. Он взял талер вперёд и сказал: мне матери отдать. Он погиб в том деле, ночью, в лесу. Погиб не по-дурному. Он стоял там, где ему велели стоять, и делал то, что велели. Его похоронили по-людски, в Мариенхофе, в освящённой земле. Его товарищи сложились на погребение из своих.

Он развязал тряпицу.

— Вот, — сказал он. — Это вам. Два талера. Это не от меня. Это по мировой, от тех, против кого он шёл. Им присудили.

Он протянул монеты на ладони.

Женщина посмотрела на монеты. Потом на него.

Потом взяла — быстро, двумя пальцами, обе сразу, — и закрыла дверь.

Скорев постоял перед дверью.

Он стоял и смотрел на облезлую синюю краску, и ждал чего-то — может быть, что дверь откроется снова, может быть, что из-за двери что-нибудь скажут. Дверь не открылась. Из-за неё ничего не сказали.

Он повернулся и пошёл обратно вверх по улице.

Он прошёл шагов сорок, когда сзади побежали.

Бежали быстро, тяжело, шлёпая по лужам, и Скорев, не оборачиваясь, взялся правой рукой за рукоять меча, и тот, кто бежал, увидел это и остановился шагах в пяти.

— Постойте, — сказал он. — Господин. Постойте.

Скорев обернулся.

Это был парень лет семнадцати — длинный, выше Ханнеса, в кожаном фартуке до колен, мокром и вонючем, и руки у него были красные до локтей, как варёные, и пахло от него дубильной ямой. А лицо было Ханнеса — то же самое лицо, узкое, с широкими скулами, и, когда парень заговорил, щека у него дёрнулась точно так же, как дёргалась у брата.

— Вы про Ханнеса, — сказал парень. — Вы мамке про Ханнеса говорили. Я слышал. Я за стеной был, в чане.

— Говорил.

— Я Лукас, — сказал парень. — Я ему брат.

Скорев кивнул.

— Он у вас служил, — сказал Лукас. — Ханнес. Значит, вы людей берёте.

— Беру.

— Возьмите меня.

Скорев посмотрел на него.

Он смотрел долго, и парень стоял под этим взглядом, переминаясь, и не опускал глаз, и щека у него дёргалась.

— Нет, — сказал Скорев.

— Почему?

— Потому что я у одной матери двоих не беру, — сказал Скорев. — Одного я у неё уже взял. Она сейчас за дверью сидит с двумя талерами. Хватит ей.

— А я не у матери, — сказал Лукас. — Я сам.

— Ты у неё.

— Я у мастера Гебеля в учениках, — сказал Лукас, и в голосе у него что-то сорвалось. — Шестой год. Мне ещё четыре. Мне в чане стоять ещё четыре года, а потом мастер помрёт или не помрёт, и если не помрёт, я буду подмастерьем стоять в чане ещё десять. Ханнес не стал. Ханнес ушёл в стражники. Мамка ревела, а он ушёл. Он мне говорил: я тебе пришлю. Он мне ничего не прислал.

— Он прислал, — сказал Скорев. — Два талера. Только не тебе, а ей.

Лукас замолчал.

Он стоял на мокрой улице, длинный, с красными руками, в вонючем фартуке, и молчал, и Скорев видел, что он сейчас или заплачет, или ударит, и не знал, что из двух хуже.

— Иди домой, — сказал Скорев. — Иди к матери. У неё теперь ты один.

Он повернулся и пошёл.

Сзади больше не бежали.

Ульмана повесили на рассвете у Южных ворот.

Скорев пришёл, потому что так было надо: гильдейский писарь платил у виселицы, и не платил тому, кого у виселицы не было. Народу собралось немного — человек тридцать, мокрых, сонных, из тех, кто вешанье не пропускает. Священник читал что-то быстро, глотая слова, потому что было холодно. Палач был рыжий, в кожаном фартуке, вроде того, что был вчера на Лукасе, и работал без лишних движений.

Ульмана привели в рубахе, босого. Ногу ему кто-то перевязал — Скорев видел белую тряпку на лодыжке, — и шёл он, почти не хромая.

Утром, перед тем как его увели, Скорев сам перевязал ему эту ногу.

Это было в ратушном подвале, при свече. Стражник пустил, не спросив, — видно, ему было всё равно. Нога распухла и почернела вокруг укуса, и Скорев промыл её водой, которую велел вскипятить, и вылил на неё полфляги крепкого вина, и перевязал чистой тряпкой, которую тоже велел вскипятить. Ульман смотрел на это молча. А потом спросил: «Зачем? Меня ж через час».

— Я обещал, — сказал Скорев. — В сарае. Я сказал: утром перевяжу. Утро.

Ульман смотрел на него очень долго.

— Ты чудной, — сказал он.

— Мне это говорят.

Теперь Ульман стоял под перекладиной, с петлёй на шее, и смотрел поверх толпы. Потом он нашёл в толпе Скорева.

Он смотрел на него, и Скорев смотрел на него, и не отводил глаз. Ему хотелось отвести. Он не отвёл, потому что отвести было бы враньём, а он этому человеку за всё время не соврал ни разу.

Палач выбил лестницу.

Гильдейский писарь, тощий, в лисьей шапке, стоял тут же, под навесом у ворот, с мешочком, и, когда всё кончилось, подозвал Скорева пальцем.

— Скореф? — спросил он, сверившись с бумажкой.

— Скореф.

— Талер, — сказал писарь и выложил монету на бумажку, как на тарелку. — За разбойника, приведённого к суду. Распишитесь. Или крест.

Скорев расписался.

Он взял талер. Монета была тёплая — писарь держал её в руке, пока ждал, — и Скорев подержал её на ладони и подумал, что это первая деньга, которую он в этом мире получил за человеческую голову. За голову в прямом смысле: не за работу, не за дело, не за сведения, а за то, что вон тот человек висит, а он стоит.

Он сунул талер в кошель.

— Вы, говорят, ещё четверых положили в лесу, — сказал писарь, убирая бумажку. — Жаль, не привезли. Было бы пять.

— Мне это уже сказали.

— Ну так я ещё раз скажу. Гильдия за мёртвого платит как за живого. Привозите — заплатим.

Скорев посмотрел на него.

— А много вы так платите? — спросил он.

Писарь пожал плечами.

— С осени — шесть талеров, — сказал он. — Это за всё. Шестерых привели, со всего округа. А на дорогах, говорят, их полсотни. — Он сплюнул. — Вот и считайте.

Скорев посчитал.

Дом он купил в тот же день.

Это вышло само: в ратуше, куда он пошёл узнать, сколько в городе стоит постой на зиму, писарь, услышав «шестеро и кони», сказал, что постой на шестерых с конями — это семнадцать крейцеров в день, если повезёт, а то и двадцать, и что так зимуют только те, у кого деньги лишние. А у кого не лишние, тот покупает.

— Что покупает?

— Дом, — сказал писарь. — У нас домов много. После язвы город забрал выморочные — где вымерли все и наследников нет. Продаём. Дёшево.

— Почём?

— Смотря какой. Есть по двадцать, есть по десять. Есть и по восемь.

— А по восемь — что?

Писарь поглядел на него с сомнением.

— По восемь — на Кожевенной, — сказал он. — Дом вдовы Брандт. Два жилья, двор, сарай, конюшня на три стойла, подвал. Каменный низ. Хороший дом. Только там все померли. Восемь душ. Его три года никто не берёт.

— Почему?

— Потому что там восемь душ померли, — сказал писарь, как говорят ребёнку. — Чумной дом. В чумной дом не идут.

— Я пойду, — сказал Скорев. — Шесть.

— Восемь.

— Шесть, — сказал Скорев. — Три года вы с него не взяли ничего. Ещё три года не возьмёте. А я вам дам шесть сегодня.

— А сбор на мусор? Там мусора с язвы…

— Мусор я вынесу сам. Шесть, со сбором.

Писарь подумал. Видно было, как он считает — не так быстро, как Скорев, но тоже неплохо.

— Шесть со сбором, — сказал он. — И ещё крейцер мне. За то, что я вам сказал.

— За то, что ты мне сказал, — согласился Скорев и положил на стол шесть талеров и крейцер.

Он считал, пока шёл к дому. Семнадцать крейцеров в день — это месяц за восемь с половиной талеров, а зима длинная, и в комнатах на постоялом дворе ничего его не будет, и хозяин двора, как всякий хозяин, будет его, пока Скорев платит, и не будет его в тот день, когда к хозяину придут двое не наших, верхами, и скажут: чтобы к завтрему постояльца не было. Это он уже видел. Это было в Малой Вельде, у Ло-

ренца, и кончилось орешником.

А из своего дома его не выселит никто.

Дом стоял на Кожевенной, ниже дома Кёлеров, шагах в сорока, на той же стороне.

Это Скорев отметил и ничего с этим не стал делать. Он не выбирал этот дом из-за Кёлеров — он выбрал его потому, что он был дешёвый, — но то, что он оказался тут, а не в другом месте, лежало теперь рядом с прочим, что надо запомнить.

Низ у дома был каменный, верх — деревянный, в косой клетке из балок, и верхний этаж нависал над улицей на локоть. Дверь была заколочена крест-накрест, и на досках мелом был нарисован крест, почти смытый. Ставни на втором этаже закрыты. Двор за домом — шагов двадцать на двадцать, мощёный наполовину, — зарос бурьяном по пояс, и бурьян стоял мёртвый, бурый, прибитый дождём.

Клещ, когда увидел, долго молчал.

— Виктор, — сказал он наконец. — Ты что, сдурел?

— Шесть талеров со сбором.

— Там восемь душ померло.

— Три года назад.

— А язва, она что, знает, сколько годов? Она в стенах сидит. Она в тюфяках сидит. Её в чумной дом зайдёшь — и всё.

— Не всё, — сказал Скорев. — Если тюфяки сжечь — не всё.

Он сам сбил доски с двери.

Внутри пахло сыростью, мышами и чем-то ещё, тяжёлым

и сладковатым, что не выветрилось за три года. В нижней комнате был очаг — большой, каменный, с плитой на полу перед ним, — стол, две лавки, опрокинутая скамья. На столе стояли миски. В мисках что-то было когда-то и высохло. Наверху — две комнаты, в каждой по кровати, и на кроватях тюфяки, перины, тряпьё, сваленное кучей, и никто не стал смотреть, что под тряпьём.

Скорев не стал тоже.

— Всё во двор, — сказал он. — Тюфяки, перины, тряпки, солому, всё, что мягкое. Во двор, в кучу, и сжечь. Сразу.

Никто не двинулся.

Клещ стоял в дверях, Каспар за Клещом, Ханс, Ханно, Клаус на костыле, который ему вырезал Ханс из ольхи. Все смотрели на кровати.

— Ладно, — сказал Скорев. — Сам.

Он подошёл к первой кровати и взял тюфяк одной правой рукой за угол и потащил.

Тюфяк был тяжёлый, слежавшийся, и тащить одной рукой его было неудобно, и ребро дёргало, и Скорев тащил его к лестнице, и на третьем шаге рядом оказался Ханно. Ханно взял тюфяк за другой угол — левой, — и они понесли вдвоём.

Потом взялся Ханс.

Потом Клещ выругался, отставил костыль к стене и запрыгал на одной ноге к кровати.

Каспар не взялся. Каспар стоял в дверях, белый, и шептал

что-то, и крестился, и Скорев не стал его трогать.

К вечеру во дворе горел костёр выше человеческого роста. Горели тюфяки, перины, тряпьё, солома с пола, два сундука с одеждой, которую Скорев велел не разбирать, а жечь, как есть, и деревянные миски со стола. Дым валил чёрный и жирный, и вонял так, что из соседних дворов выходили смотреть.

Соседи смотрели через плетень. Женщина в платке, мальчишка, старик с палкой.

— Это кто ж такие? — спросил старик.

— Новые, — сказал мальчишка. — Чумной дом купили.

Женщина перекрестилась.

— Чумного дома не боятся только колдуны да покойники, — сказала она негромко, но так, чтобы слышали, и ушла.

Скорев это слышал. Он стоял у костра, опершись на вилы, и смотрел, как горит чужая перина, и думал, что вот это надо запомнить тоже — и что запомнить это надо крепче, чем всё остальное, потому что за «колдуна» в этом мире не судятся, за «колдуна» жгут, и жгут не так, как он жжёт сейчас тюфяки, а на площади, при народе, и не спрашивают, почему он не боялся.

Он не боялся, потому что знал. Он знал про блох, про вшей, про то, что язва живёт не в стенах и не в воздухе, а в тряпках, в соломе, в шерсти, в тюфяках, на которых спали больные. Знал не из книг, а из той, другой жизни, где об этом знал каждый. Тут этого не знал никто. Тут знали, что

в чумной дом не идут.

И вот он идёт, и не помирает. И это первый раз, когда его знание видно со стороны.

«Осторожней», — подумал он.

Наутро он велел купить извести.

Известь купили на рынке у каменщиков — мешок, за восемь крейцеров. Скорев велел развести её в бочке водой и белить стены — все, внизу и наверху, в два слоя, — и сам белил, одной рукой, тряпкой, намотанной на палку. Пол в нижней комнате скоблили ножами, потом мыли кипятком со щёлоком. Воду для питья Скорев велел кипятить — всю, всегда, — и, когда Клещ спросил, зачем, сказал, что колодец на Кожевенной стоит ниже дубильных ям и вода в нём пахнет тем же, чем пахнет вся улица.

— Пахнет, — согласился Клещ. — Ну и что?

— А то, что пить я её не стану, пока не прокипит. И вы не станете.

— Ты раньше пил что ни попадя.

— Раньше меня по голове не били, — сказал Скорев.

Клещ посмотрел на него внимательно, как смотрел иногда, и ничего не сказал.

Ночью, когда все уснули — наверху, на соломе, которую привезли с рынка свежей, — Скорев спустился вниз и разбудил Каспара.

— Пошли, — сказал он.

Каспар пошёл, ни о чём не спрашивая.

Внизу Скорев зажёг свечу и показал на плиту перед очагом.

Плита была большая, каменная, в две ладони толщиной, плотно пригнанная к полу. Он заприметил её ещё днём, когда скоблили пол: по краю плиты шла щель, чуть шире, чем у прочих, и в щели была не грязь, а старая сухая глина — так замазывают, когда поднимали и клали на место.

— Подними, — сказал он.

Каспар посмотрел на плиту, потом на него.

— Экселенц, она ж пудов пять.

— Я помогу.

Подняли вдвоём: Каспар двумя руками, ломом, который нашли в сарае, Скорев одной правой и коленом. Под плитой оказалась яма — неглубокая, в локоть, выложенная по стенкам камнем. Пустая. Только на дне лежала истлевшая тряпица, и в тряпице не было ничего.

— Покойница прятала, — сказал Каспар шёпотом. — Вдова-то. Деньги, видать.

— Видать.

— А где ж деньги?

— Кто первый пришёл, когда она померла, тот и взял, — сказал Скорев. — Город забрал дом. А деньги, видно, кто-то забрал раньше города.

Он положил на дно ямы свёрток в промасленной холстине.

Четыре тетради легли туда точно, как будто яма была сде-

лана под них.

Положили плиту обратно. Замазали щель глиной, растёртой с золой, чтобы не отличалась от старой. Скорев посмотрел на работу при свече и остался доволен.

Месяц назад, в первую неделю, он прятал десять баронских талеров — четыре под угловой камень печи в пустой избе, три за плетень, три при себе. Тогда это было всё, что у него было. Теперь у него было больше, но прятал он опять под камень, в доме, где все умерли, и это было, если подумать, всё то же самое.

— Каспар, — сказал он.

— Да, экселенц.

— Про это знаем ты и я.

— Знаем, — сказал Каспар.

— Больше никто.

— Никто, — сказал Каспар и перекрестился. — Ни одна живая душа. Хоть пытай.

— Пытать будут, — сказал Скорев. — Если узнают, что ты знаешь. Так что ты лучше не знай.

— Как это?

— Вот так. Ты сейчас ляжешь, уснёшь, и утром не будешь помнить, что вставал.

Каспар подумал.

— Это я умею, — сказал он серьёзно. — Я при суде десять лет не помнил, что видел. Это у меня лучше всего выходит.

Они поднялись наверх.

Утром, когда Скорев вышел во двор умываться, у ворот сидел Лукас.

Он сидел на камне у ворот, длинный, нескладный, уже без фартука, в старой куртке, которая была ему мала, и на коленях у него лежал узелок, а за поясом торчал нож — кожевенный, кривой, каким мездру снимают. Руки у него были всё такие же красные. Он, видно, сидел тут давно, потому что на плечах у него лежал иней.

Он увидел Скорева и встал.

Скорев стоял с полотенцем на шее и смотрел на него.

— Я ж тебе сказал, — сказал он.

— Сказали, — согласился Лукас. — Я слышал.

— Ну?

— Я мамке два талера отдал, — сказал Лукас. — Ханнесовы. Она их в сундук положила. И сказала: иди, раз так. Она сказала, — щека у него дёрнулась, — она сказала: всё одно уйдёшь. Так лучше к нему, чем к волкам. Он хоть платит.

Скорев молчал.

Он смотрел на парня с узелком и с кожевенным ножом за поясом и думал о том, что мать, которая отдаёт второго сына человеку, из-за которого погиб первый, — это мать, которая посчитала. Посчитала, как считает он сам. Чан на четыре года. Волки на дороге. Человек, который платит. И из трёх выбрала его.

Он не хотел быть тем, кого выбирают из трёх.

Но его выбрали.

— Иди в дом, — сказал он. — Там каша. Поешь. Потом поговорим.

Лукас пошёл в дом, не оглядываясь, мимо него, и от него всё ещё пахло дубильной ямой.

Скорев стоял у ворот.

Он думал о двух монетах, которые позавчера отдал за синюю облезлую дверь. О том, что десятину мёртвых платят живым, потому что мёртвым она ни к чему. И что живые, получив её, делают с ней что хотят. Эта — положила в сундук и отдала ему второго сына.

Глава третья. Талер с головы

За ним прислали, пока Лукас доедал кашу.

Пришёл мальчишка в чистой куртке с бляхой на груди — на бляхе была выбита мера, какой меряют соль, — постоял у ворот, не решаясь войти во двор чумного дома, и крикнул оттуда:

— Господин Скореф! Господин Скореф тут живёт?

— Тут, — сказал Скорев с крыльца.

— Старшина соляного двора просит быть. К полудню. Господин Ортлиб.

— Зачем?

Мальчишка посмотрел на него так, будто его спросили, зачем светит солнце.

— Просит быть, — повторил он и убежал, не дожидаясь ответа.

Скорев вернулся в дом. Лукас сидел за столом над пустой миской и смотрел на него.

— Я сегодня иду наниматься сам, — сказал ему Скорев. — Если наймусь, найму и тебя. Если нет — пойдёшь обратно к мастеру Гебелю, и я тебе скажу, что ему соврать.

Лукас кивнул. Щека у него дёрнулась.

— А если наймётесь — куда?

— На дорогу, — сказал Скорев. — Куда ж ещё.

Два дня, пока белили стены и скоблили пол, Ханс и Клаус

сидели у Южных ворот и у соляных амбаров на реке и считали.

Скорев посадил их туда в первое же утро, как сажал в Вельде на дворе у Аарона, и с теми же условиями: полкрейцера в день просто за то, что сидят, и крейцер, если вечером счёт у одного сойдётся со счётом другого. Клаус сидел у ворот на камне, вытянув ногу в лубке и положив рядом костыль, и выглядел так жалко, что ему подавали, и он брал, и вечером честно отдал Скореву четыре пфеннига, а Скорев честно отдал их ему обратно. Ханс сидел у амбаров, на берегу, с удочкой, в которой не было крючка.

К вечеру второго дня у Скорева было вот что.

Через Южные ворота за два дня въехало девять телег. Выехало — три. Все три — недалеко: дрова, сено, одна с покойником на кладбище за стеной. Ни одна телега с солью на юг не ушла. На север, через Северные ворота, ушли две с солью — маленькие, по три мешка, — и обе, как сказал стражник Клаусу, «до первого леса, а там как Бог даст».

Соляных амбаров на реке было четырнадцать. Двенадцать стояли полные: Ханс видел, как в двух открывали двери, и там мешки лежали до потолка. В одном мешки кто-то перекладывал, и Ханс спросил у работника зачем, и работник сказал, что нижние отсырели и киснут, и их надо поднимать наверх, а верхние класть вниз, и так каждую неделю, и это зря, потому что всё одно отсыреют все.

Варниц за рекой было шесть, и дымили из шести две.

— Две, — сказал Скорев. — Из шести.

— Две, — сказал Ханс. — Я весь день смотрел. Остальные стоят. Мужики там сидят у огня и не варят.

— Почему не варят?

— Я спросил. Сказали: некуда. Амбары полны.

Скорев сложил это вместе с тем, что видел сам на площади. Соль по четыре пфеннига. Соль, которая киснет в амбарах. Две варницы из шести. Город, который сидит на соли, как курица на яйцах, и не может её никуда снести.

Каспар принёс третье.

Каспар два вечера просидел в кабаке у Южных ворот с тамошним писарем, тем, что вёл книгу пошлин, и поил его на свои — Скорев выдал ему на это двенадцать крейцеров и потом выдал ещё шесть, потому что писарь пил много, — и на второй вечер писарь, растроганный тем, что встретил человека, который понимает в бумагах, показал ему книгу.

— С Михайлова дня, экселенц, — сказал Каспар, сидя на лавке у очага и загибая пальцы. — С Михайлова дня на юг ушло три обоза. Большие. По двадцать, по двадцать пять возов. Все три записаны: соль, Штальберг, подрядчик — гильдия. Ни один не вернулся. Ни возы, ни возчики, ни кони. Записаны туда — и всё. Назад не записаны.

— Три обоза, — сказал Скорев. — Это сколько возов?

— Семьдесят один, — сказал Каспар. — Я сложил.

— А сколько стоит воз соли в Штальберге?

— Этого писарь не знает. Это гильдия знает.

— Узнаем, — сказал Скорев.

Соляной двор стоял на площади, напротив ратуши, и был выше ратуши на целый этаж.

Это был каменный дом в три жилья, с узкими окнами, с дубовыми воротами, окованными железом, и над воротами была вырезана в камне та самая мера, что на бляхе у мальчишки. За домом, через двор, виднелись крыши ещё каких-то строений — склады, конюшни, — и пахло со двора не солью, а сырым деревом и навозом.

Скорев пошёл один. Каспара взял с собой, но велел ему стоять у дверей и молчать, пока не спросят.

— А если спросят?

— Тогда говори. Но только то, что спросили.

— Это я умею, экселенц.

— Ты это не умеешь, — сказал Скорев. — Но постарайся.

Их провели наверх, во второе жильё, в большую комнату с печью, обложенной зелёными изразцами, и с длинным столом под сукном. На столе стояли весы — маленькие, медные, — и лежала толстая книга в кожаном переплёте.

За столом сидели пятеро.

Посередине — старшина. Длинный, сухой, лет шестидесяти, в шубе на лисьем меху, с носом, загнутым книзу, как клюв у старой птицы. Руки он держал на столе, и пальцы у него всё время двигались — не дрожали, а перебирали что-то, будто считали невидимые монеты.

По сторонам от него — три купца. Один толстый, с цепью

на шее, второй молодой, с подстриженной бородкой, третий старый, глухой, — он то и дело наклонялся к молодому и переспрашивал.

С краю сидел тощий писарь в лисьей шапке — тот самый, что вчера у виселицы выложил Скореву талер на бумажку.

А у окна, не за столом, а на табурете, в стороне, сидел пятый.

Он сидел, расставив ноги в сапогах, положив руки в перчатках на колени, и был не купец. Это Скорев увидел сразу, ещё от двери, — так же, как видел всегда: по тому, как сидят. Купец сидит так, чтобы было удобно. Этот сидел так, чтобы можно было сразу встать. Он был лет сорока, квадратный, в простом сером кафтане с кожаными наплечниками, с коротко стриженными седыми волосами и рубленым лицом, и через левую бровь у него шёл белый шрам, отчего бровь казалась разрубленной надвое.

— Господин Скореф, — сказал старшина. — Садитесь.

Скорев сел.

— Я Гебхард Ортлиб, — сказал старшина. — Старшина гильдии солеваров и соляных торговцев Кроненфельда. Это господин Фукс, господин Альтдорфер, господин Земмлер. — Он не стал объяснять, кто из них кто. — Нашего писаря вы знаете.

— Знаю.

— А это, — Ортлиб повёл рукой к окну, — капитан Хагедорн. Капитан стражи господина ландфогта.

Квадратный кивнул, не вставая.

— Господин ландфогт пожелал знать, — сказал Ортлиб ровно, — о чём гильдия станет говорить с вооружённым человеком, который привёл разбойника к суду. Гильдия ничего не имеет против. Гильдии скрывать нечего.

Скорев посмотрел на Хагедорна. Хагедорн посмотрел на него.

— Говорите, — сказал Хагедорн. — Я тут не для того, чтобы мешать. Я тут для того, чтобы слышать.

— Вы привели разбойника, — сказал Ортлиб. — Одного. А четверых, говорят, положили в лесу. На северной дороге. За один день.

— Их было шестеро. Один ушёл.

— Пятеро из шести, — сказал Ортлиб. — За один день. Мы с Михайлова дня ловили их всем округом и поймали шестерых. Шестерых за два месяца. А вы — пятерых за один день, проездом.

— Они сами пришли, — сказал Скорев. — Я их не ловил. Я ехал, а они стояли.

— Это неважно.

— Это важно, — сказал Скорев. — Ловить и отбиваться — разные ремёсла. Отбиваться я умею. Ловить — посмотрим.

Ортлиб помолчал. Пальцы у него на сукне двигались.

— Вы знаете, что у нас тут? — спросил он.

— Знаю, — сказал Скорев. — Догадываюсь.

— Догадываетесь, — повторил Ортлиб с лёгкой насмешкой. — Ну так скажите. Посмотрим, хорошо ли догадываетесь.

Скорев сказал.

Он говорил ровно, не торопясь, глядя не на Ортлиба, а в стол, как говорят, когда читают с листа.

— У вас четырнадцать амбаров на реке, — сказал он. — Двенадцать полны. Соль в них сыреет снизу, и вы её каждую неделю перекладываете, и платите за это работникам, и всё равно теряете. Варниц у вас шесть, варят две, и те, наверное, только для того, чтобы солевары не разбежались. На площади соль по четыре пфеннига мерка, и её никто не берёт, потому что у кого был грош на соль, тот купил ещё осенью. А в деревнях в двух днях отсюда та же мерка — втрое против прошлой зимы, потому что туда её не везут. С Михайлова дня вы отправили на юг три обоза — семьдесят один воз. Ни один не вернулся: ни возы, ни кони, ни люди. Значит, кроме соли, вы потеряли семьдесят один воз, лошадей, сколько их было, и возчиков, а за возчиков вы, наверное, платите вдовам, иначе у вас никто больше не поедет. Через Южные ворота за два дня на юг не ушло ни одной телеги. Значит, юг закрыт. Север тоже закрыт, только не так плотно, — там, где меня ждали, ждали меня, а не вашу соль. Вот что я догадываюсь.

Он поднял глаза.

В комнате было тихо. Толстый купец с цепью смотрел

на него с открытым ртом. Глухой наклонился к молодому и громким шёпотом спросил: «Чего он говорит?» — и молодой отмахнулся.

Ортлиб смотрел на него долго.

— Откуда вы это знаете? — спросил он.

— Считал.

— Кто вам дал счёт?

— Никто. Я посадил мальчишек у ворот и у реки, и они два дня считали телеги, мешки и дым. А мой писарь два вечера пил с вашим привратником.

Писарь в лисьей шапке быстро посмотрел на Каспара, стоявшего у двери. Каспар смотрел в потолок.

Хагедорн у окна чуть заметно усмехнулся — одним углом рта, тем, что был под разрубленной бровью.

— Хорошо, — сказал Ортлиб. — Вы считаете. Это хорошо. Нам нужен человек, который считает. Но нам нужен ещё человек, который откроет дорогу.

— Какую?

— На юг. Через Дрейвеге. — Ортлиб положил ладонь на книгу. — У гильдии подряд. Сто возов соли в Штальберг, к Рождественскому торгу. Подряд взят ещё летом, у тамошней гильдии, задаток получен. Если сто возов не придут, задаток возвращается вдвое, а подряд на будущий год отдают Зеенталю. Зеенталь его ждёт. Зеенталь его десять лет ждёт.

— Когда они должны прийти?

— К Рождеству — в Штальберге. Значит, Дрейвеге на-

до пройти к Томасову дню. Позже — не успеем: оттуда до Штальберга ещё пять дней по зимней дороге.

— К Томасову дню, — сказал Скорев.

Он посчитал. Сегодня было девятнадцатое ноября. До Томасова дня — тридцать два дня.

— А кто стоит у Дрейвеге? — спросил он.

— Волчья рота, — сказал толстый купец, не выдержав. — Так их зовут. Ходят в шкурах. Человек сорок, говорят. Или пятьдесят. Кто их считал.

— Никто не считал, — сказал Скорев. — А пытались?

Купцы переглянулись.

— Мы просили господина ландфогта, — сказал Ортлиб ровно, и Скорев увидел, что тут он говорит медленнее, как будто ступает по льду. — Дороги в графстве — его забота. Господин ландфогт рассудил, что у него на всё графство людей мало, и рассылать их по дорогам он не может. Но он готов дать гильдии конвой. Своих людей, при капитане. — Ортлиб не посмотрел на Хагедорна. — На обоз.

— Сколько?

— Двести талеров, — сказал Ортлиб. — С обоза.

Скорев посчитал и это.

— Сто возов — это четыре обоза, — сказал он. — Восемьсот талеров. А сколько вам даёт Штальберг за сто возов?

Ортлиб помолчал.

— Четыреста.

— Значит, вам выгоднее не возить, — сказал Скорев. —

Вернуть задаток вдвое и отдать подряд Зеенталю. Это дешевле, чем конвой.

— Дешевле, — сказал Ортлиб. — Только тогда гильдии не будет. Без штальбергского подряда у нас останется север, а север — это деревни, а деревни ныне платят репой. Через два года гильдия продаст варницы. Тому, кто купит.

— А кто купит?

Ортлиб посмотрел на него, и Скорев увидел в этом взгляде то же, что видел у Тревизо, у Аарона, у Эрлиха, — у всех, кто знал больше, чем говорил, и не собирался говорить.

— Тот, у кого будут деньги, — сказал Ортлиб. — Деньги у нас нынче у одного человека.

Хагедорн у окна шевельнулся. Ортлиб замолчал.

Скорев понял, что больше тут не скажут, и не стал спрашивать.

— Сколько вы мне дадите? — спросил он.

Торговались час.

Скорев знал, что будет торг, и знал, как он пойдёт. Он знал это так же, как знал устройство засады: торг — это тот же бой, только вместо железа деньги, и побеждает в нём не тот, у кого больше, а тот, кто лучше знает, сколько у другого. А он знал. Он знал про амбары, про варницы, про подряд, про двести талеров ландфогта, — и они видели, что он знает, и от этого торговались хуже.

Сначала гильдия предложила то, что предлагала всем: талер за голову по разбойничьей таксе. Как для всякого, кто

приведёт к суду.

— Это вы платите тем, кто ловит проездом, — сказал Скорев. — Мне вы платите за то, чтобы я на этой дороге жил. Это другая цена.

— Какая?

— Двадцать талеров вперёд. Талер за голову, как всем. Десять за сержанта ихнего — вы, говорят, знаете, как его звать. И сто, если ваш обоз пройдёт Дрейвеге к Томасову дню.

— Сто! — сказал толстый купец.

— Сто, — сказал Скорев. — Это четверть того, что вам даст Штальберг. И половина того, что просит ландфогт за один обоз. А я вам открою дорогу для всех четырёх.

— Вы её не откроете, — сказал молодой купец с бородкой. — Их там пятьдесят. У вас — одноногий, писарь и мальчишки. Мы видели.

— Видели, — согласился Скорев. — И я видел. Поэтому прошу двадцать вперёд. На них я найму людей.

Ортлиб поднял руку, и все замолчали.

— Десять вперёд, — сказал он. — Талер за голову. Десять за сержанта. И пятьдесят, если обоз пройдёт.

— Пятнадцать вперёд.

— Десять, — сказал Ортлиб. — Больше вперёд гильдия не даёт никому. Мы давали вперёд другим. Двое взяли и уехали. Третьего нашли на дороге.

Это была правда, и Скорев это видел. Он видел и то, что

Ортлиб скажет «десять» ещё десять раз, и не потому, что жаден, а потому, что гильдия уже платила вперёд и получала за это мёртвых.

Десять талеров вперёд. Месяц назад в Вельде барон тоже дал ему десять — выгреб ларец до дна, скрёб по углам. Здесь ларец был полнее, но давали столько же.

— Десять, — сказал Скорев. — И ещё одно.

— Что?

— Десятина мёртвых, — сказал Скорев. — По два талера родне каждого моего человека, которого убьют на вашей дороге.

Купцы зашумели.

— Это ещё зачем? — сказал толстый. — Мы платим за мёртвых разбойников. А не за ваших.

— А я вам говорю — и за моих, — сказал Скорев. — Без этого ко мне никто не пойдёт.

— Пойдут. В городе зимуют сотни. Без места, без хлеба. Пойдут за харчи.

— Пойдут, — согласился Скорев. — Те, кому всё равно. Те, кому всё равно, — плохие солдаты: они бегут первыми, потому что им бежать не жалко. А мне нужны те, у кого есть кому отдать. Такой не побежит, пока знает, что если ляжет — его матери заплатят. А если не знает — пойдёт, только за двойную плату, потому что ему надо самому заработать то, что потом получит его мать. Двойную плату вы мне не дадите. Значит, давайте десятину.

Ортлиб слушал, и пальцы у него на сукне не двигались.

— Сколько у вас будет людей? — спросил он.

— Не знаю. Человек десять. Может, пятнадцать.

— Если всех положат — тридцать талеров.

— Если всех положат — вам уже будет всё равно, — сказал Скорев. — Потому что тогда вы отдадите подряд Зеенталю и продадите варницы тому, у кого деньги.

В комнате снова стало тихо.

Глухой купец наклонился к молодому и спросил шёпотом: «Чего он?» — и молодой ответил ему тоже шёпотом, но так, что услышали все:

— Говорит, мы всё одно пропадём, так хоть пусть за его мёртвых заплатим.

Глухой подумал и вдруг сказал громко, на всю комнату, скрипучим голосом:

— А что, верно говорит. Пусть. Я своим возчикам вдовьи плачу, и он своим пусть.

Ортлиб посмотрел на глухого, потом на Скорева.

— По два талера, — сказал он. — Родне. Под роспись родни. И только за тех, кто убит на дороге, в деле. Не в кабаке и не в постели.

— В деле, — сказал Скорев.

— Пишите, — сказал Ортлиб писарю.

Писарь в лисьей шапке писал долго.

Скорев сидел и ждал, и, когда писарь кончил, Ортлиб подвинул бумагу Скореву. Скорев не стал брать. Он сказал:

— Мой писарь прочтёт.

Каспар подошёл от двери. Он взял бумагу так, как берут ребёнка, — бережно, обеими руками, — и читал её, шевеля губами, и Скорев видел, как бегают его круглые светлые глаза: строка, другая, третья, назад, опять вперёд.

— Экселенц, — сказал Каспар.

— Ну.

— Тут написано: «приезжий человек Виктор Скореф». Приезжий.

— И что?

— Приезжий — это никто, — сказал Каспар. — Приезжий — это тот, кто приехал и уедет. Приезжему гильдия не должна ничего, кроме того, что тут написано, а если он уедет раньше, чем сделает, — так и написанное не должна. Надо писать: «наёмный человек гильдии». Тогда вы гильдии свой, и гильдия за вас отвечает. И перед стражей, и перед судом. И если вас найдут в канаве, спрашивать будут с того, кто убил человека гильдии, а не приезжего.

Ортлиб смотрел на Каспара с интересом.

— Это кто у вас? — спросил он у Скорева.

— Мой писарь. Каспар Виттих. Десять лет при суде в Гербштадте.

— В Гербштадте, — повторил Ортлиб. — Ну, это видно.

— Ещё, — сказал Каспар, не обращая на них внимания. — «С правом набирать людей». А носить оружие? У них тут, экселенц, за оружие на воротах крейцер с человека, а в горо-

де с оружием ходит только стража ландфогта и кто при гильдии. Если не написано, что нам можно, — нас любой стражник на улице остановит и спросит, кто таков, и отберёт.

Хагедорн у окна кивнул, хотя его никто не спрашивал.

— Верно говорит, — сказал он. — Остановят и отберут.

— Пишите: «наёмный человек гильдии, с правом набирать людей и носить оружие в городе», — сказал Ортлиб писарю.

Писарь вычеркнул и написал.

Каспар прочёл ещё раз, от начала до конца, — и только тогда отдал бумагу Скореву.

— Подписывайте, экселенц. Теперь можно.

Скорев подписал. Ортлиб подписал. Писарь приложил печать гильдии — ту самую меру, какую меряют соль, в красном воске.

Скорев сидел и смотрел на свою подпись.

Это была первая бумага в этой жизни, где про него было написано не «называющий себя», не «приезжий», не «не имеющий ни бумаг, ни поручителя», а то, кто он такой. Наёмный человек гильдии. Чей-то человек. Не много. Но месяц назад барон отказал ему и в этом.

Ортлиб отсчитал десять талеров. Отсчитал сам, не доверив писарю, и монеты ложились на сукно одна к одной, без звона.

Скорев проверил каждую. На зуб и на вес. Одну отодвинул.

— Обрезанная, — сказал он.

Ортлиб посмотрел на монету, потом на него.

— Обрезанная, — согласился он и заменил её, не споря.

Хагедорн догнал его во дворе, у коновязи.

Скорев отвязывал Хвата одной правой, и это было долго, потому что ремень намок и затянулся, и Хагедорн подошёл, постоял, посмотрел и, ни слова не говоря, развязал узел двумя руками и отдал ему повод.

— Спасибо, — сказал Скорев.

— Не за что, — сказал Хагедорн. — У тебя рука.

— Рука.

— Это где?

— На дороге. В Вельде.

— Липпольд, — сказал Хагедорн.

Скорев посмотрел на него.

— Об этом уже тут знают?

— Об этом тут знают все, кому надо, — сказал Хагедорн. — Ты не думай, что ты сюда приехал и тебя никто не знает. Тебя тут знали раньше, чем ты въехал.

— Это я уже понял.

Хагедорн помолчал. Он стоял, расставив ноги, и смотрел на Скорева прямо, и разрубленная бровь у него была неподвижна.

— Скореф, — сказал он. — Мой дядя был лейтенант Хагедорн. Он тебя учил.

Скорев почувствовал, как внутри у него всё останавлива-

ется.

Он не знал никакого лейтенанта Хагедорна. Он, Скорев, его не знал. Но тело, в котором он стоял, — тело, может быть, и знало, а может быть, и нет, и он не мог спросить его об этом, а мог только ждать, придёт или не придёт. Так было с Клещом в Гербштадте. Так было с мечом и бароном. Иногда приходило. Иногда — нет.

Он смотрел на Хагедорна и ждал.

И пришло.

Пришёл не человек, не лицо, а голос — сиплый, усталый, злой, — и он сказал, будто над ухом: «Не бегай от болта, дурень. Болт быстрее». И ещё — грязь, поле, кто-то сбоку падает лицом вниз, — и всё.

— Не бегай от болта, — сказал Скорев. — Болт быстрее.

Хагедорн смотрел на него ещё секунду.

Потом усмехнулся — одним углом рта.

— Он это всем говорил, — сказал он. — Мне тоже. Мне двенадцать лет было, я у него в оруженосцах ходил. Он мне это так часто говорил, что я до сих пор от болта не бегаю. — Он помолчал. — Он помер четыре года назад. В Кастельново, под стеной. От болта.

— Не бегал, значит, — сказал Скорев.

— Не бегал.

Они постояли.

— Я тебе скажу одну вещь, Скореф, — сказал Хагедорн. — Чтобы потом было честно. Я служу господину ландфогту

по контракту. До Пасхи. Контракт хороший, и я его держу. Если мне велят тебя взять — я тебя возьму. И если велят повесить — повешу. Говорю, чтобы ты знал.

— Спасибо, — сказал Скорев. — Это дорого стоит.

— Это ничего не стоит.

— Это стоит дорого, — сказал Скорев. — Мне обычно этого не говорят. Мне обычно говорят, что всё будет хорошо, а потом находят в канаве.

Хагедорн посмотрел на него внимательнее.

— Господин ландфогт велел тебе передать, — сказал он. — Он слышал, что гильдия будет нанимать своего человека на дорогу. Он не против. Он сказал: пусть попробует.

— Пусть попробует, — повторил Скорев.

— Так и сказал.

— Он умный человек, твой ландфогт?

Хагедорн подумал.

— Он старый человек, — сказал он. — Он много молится и мало говорит. А умный ли — я не знаю. Я при нём полгода. Я его видел раз пять.

Он кивнул и пошёл к воротам, и Скорев смотрел ему вслед и думал о том, что вот человек, который сказал ему, что повесит его, если велят, — и что этому человеку он верит больше, чем верил когда-либо кому-либо из тех, кто обещал ему, что не повесит.

Вечером Скорев считал.

Он сидел внизу у очага, на той самой плите, под которой

лежали тетради, — сидел на ней нарочно, потому что если кто-нибудь когда-нибудь будет смотреть, где тут сидит хозяин, то увидит, что хозяин сидит на плите, и плиту поднимать не станет: на чём сидят, под тем не прячут, это все знают. Перед ним на лавке лежали деньги.

Двадцать шесть талеров своих с мелочью. Десять гильдейских. Тридцать шесть.

Тридцать два дня до Томасова дня.

Против него — рота, которую никто не считал. Сорок человек или пятьдесят. В шкурах, при сержанте, которого зовут Йост, и при ком-то, кто им платит и кого он не знает.

За ним — одноногий, писарь, мальчишка с арбалетом, мальчишка с костылём, парень с одной рукой и, если считать, парень с красными руками из дубильного чана, который сидит сейчас наверху и не спит, ждёт, наймут его или нет.

И бумага. Наёмный человек гильдии. Талер за голову.

Он думал о том, что в Вельде ему платили за то, что он найдёт деньги. А здесь ему платят за головы. Талер за каждую — как за мешок соли, только дороже, как за овцу, только дешевле. Гильдия считает головы, как считает мешки, потому что так ей удобнее: голову видно, голову можно повесить на дороге, голову можно записать в книгу. А дорогу, которую открыли, не повесишь и не запишешь.

Город платит за голову. Значит, голова — товар.

И его голова — тоже. Тридцать талеров, если верить Ульману. Против талера за голову Ульмана.

Он подумал, что это довольно точно описывает, сколько он теперь стоит в этом городе, — и что он стоит больше, чем любой, кого он здесь убьёт, и меньше, чем четыре тетради у него под задом, — и усмехнулся.

Дверь скрипнула. Вошёл Каспар — мокрый, пьяный, весёлый.

— Экселенц, — сказал он. — Привратник.

— Что привратник?

— Он мне сегодня ещё раз налил, — сказал Каспар и сел на лавку, чуть не смахнув деньги. — Сам. На свои. Растрогался. И говорит мне: ты, говорит, хороший человек, Каспар, хоть и из Гербштадта, и я тебе скажу. Мне, говорит, заплатили. Ещё на Мартынов день. Чтобы я сказал, когда въедет человек по имени Скореф, с телегой, при одноногом. Я, говорит, и сказал. Как вы въехали — в тот же вечер.

— Кто заплатил?

— Человек в добром плаще, — сказал Каспар. — Лица он не помнит. Говорит, капюшон. Говорит, платил новыми талерами. Совсем новыми, говорит, будто вчера чеканены, — он такие в первый раз видел.

Скорев сидел и смотрел на огонь.

— Новыми, — сказал он.

— Новыми, экселенц. И ещё говорит — дал мне, говорит, талер, а я, говорит, его до сих пор не разменял, такой он красивый. И показал.

— Показал?

— Показал, — сказал Каспар и вдруг перестал быть пьяным. — Я его в руках держал, экселенц. Талер как талер. Только чистый. Ни царапины. И на нём, на ребре, где насечка, — насечка свежая, острая, палец режет.

Он помолчал.

— Такие, экселенц, не из кошеля дают, — сказал он тихо. — Такие из сундука дают. Из того, куда их прямо с монетного двора кладут.

Скорев ничего не сказал.

Он сидел на плите, под которой лежали тетради, и смотрел на тридцать шесть талеров на лавке — старых, стёртых, обрезанных, чужой чеканки и своей, ходивших по рукам двадцать лет, — и думал о том, что где-то в этом городе есть сундук, в котором лежат талеры, которые ещё ни по каким рукам не ходили. И из этого сундука ему, Скореву, уже назначена цена. Тридцать.

Город платит за голову. Значит, голова — товар.

И моя тоже.

Глава четвёртая. Калеки

Утром он считал руки.

Не людей — руки. Людей считать было бесполезно, людей у него было шестеро, и седьмым сидел наверху Лукас, и всё это было сосчитано много раз. А руки он сосчитал впервые, и считал так, как считают патроны перед делом, когда их мало: по одному, вслух, про себя.

Своих — одна. Правая. Левая годилась на то, чтобы держать повод, и то если конь смирный.

Клещ — две руки, но одна нога, и дерётся только с коня. С коня Клещ стоит троих. Пешим — половину одного, и то если есть за что держаться.

Ханс — две руки, две ноги и лучшие глаза, какие Скорев видел у человека. Четырнадцать лет. Вчера утром убил первого.

Клаус — две руки, одна нога. Вторая в лубке и ещё недели три будет в лубке. Двенадцать лет. Кидает камни так, что попадает.

Ханно — одна рука. Левая. Семнадцать лет. Позавчера перерезал горло человеку, которого никто не велел ему резать.

Каспар — две руки, и обе для пера. В драку не лезет, объявил это сам, и никто его в этом не торопит.

Лукас — две руки, красные до локтей, сильные, как у всех,

кто шесть лет таскал мокрые шкуры из чанов. Семнадцать лет. Не убил ещё никого.

Итого: девять рук на семерых. Против сорока или пятидесяти.

Он сидел над этим счётом долго, и счёт не менялся, сколько ни сиди.

И тогда он сказал себе то, что надо было сказать ещё вчера, у гильдии, когда подписывал бумагу.

Драться не умеет никто.

Значит, будем убивать.

Это было не одно и то же, и разницу эту он знал лучше, чем что-либо в обеих своих жизнях. Драться — это когда ты стоишь перед человеком, а человек перед тобой, и у каждого железо, и кто лучше, тот и жив. Для этого нужны руки, ноги, годы ученья и ещё удача. У него не было ничего из этого. А убивать — это другое. Убивать можно из-за телеги. Убивать можно ночью. Убивать можно издали, из арбалета, который взводит мальчишка. Убивать можно в спину, когда человек смотрит в огонь. Убивать можно камнем, ножом, огнём, голодом. Для этого не нужно ни рук, ни ног, — нужно только знать, где человек будет стоять через час и куда он будет смотреть.

Это он знал.

Он спустился вниз. Лукас сидел за столом и ждал.

— Нанят, — сказал Скорев. — Два талера на две недели и харчи. Как всем. Если убьют — матери два талера от гиль-

дии. Под роспись.

Лукас встал. Щека у него дёрнулась.

— А что делать?

— Пока — слушать, — сказал Скорев. — И делать, что скажут. Одно дело. Не два.

Наёмщиков искали у Северных ворот.

Там, за постоялым двором, где ночевали в первую ночь, был пустырь — когда-то тут стояли дома, потом сгорели, потом их не отстроили, потому что некому, — и на пустыре с утра стояли люди. Человек тридцать. Стояли кучками, по трое, по пятеро, у костров, разведённых из чужих заборов, и ждали. Ждали так, как ждут только солдаты без места: не глядя ни на кого и в то же время видя всех, кто подходит.

Скорев подъехал на Хвате, с Клещом.

Это он сделал нарочно. Пешего наёмщика солдат не уважает, потому что пеший наёмщик — это или писарь, или дурак, а ни тот ни другой платить не будет. Наёмщика на боевом коне с золотой рукоятью у пояса уважают сразу, ещё до того, как он открыл рот, и потом уже не переспрашивают, сколько он даст, а только — когда.

Он остановил коня посреди пустыря и стал ждать.

Подошли не сразу. Сперва подошёл один — с проваленным носом, с секирой на плече. Потом, видя, что первого не прогнали, подошли ещё трое. Потом — все.

— Нанимаешь? — спросил тот, что с секирой.

— Нанимаю.

— Куда?

— На дорогу. На южную.

Кругом зашумели.

— Это к волкам, что ли? — спросил кто-то сзади.

— К волкам.

Шум стал другой. Человек пять отошли сразу, не говоря ни слова, обратно к своим кострам.

Скорев проводил их глазами и не стал звать назад.

— Сколько? — спросил тот, что с секирой.

— Два талера на две недели. Харчи мои. Ночлег мой, под крышей. Если убьют — родне два талера от гильдии, под роспись.

— Два талера, — сказал тот, что с секирой, и засмеялся. — На две недели. К волкам. Это ты, брат-солдат, нас дёшево ценишь.

— Это я вас ценю, как вы стоите, — сказал Скорев. — Вы тут третью неделю стоите у костра. Если бы вас ценили дороже — вас бы уже наняли.

Тот, что с секирой, перестал смеяться.

Скорев не дал ему ответить.

— Я возьму шестерых, — сказал он. — Не больше. Кто хочет — подходи по одному. Я спрошу три вещи. Кто ответит — того возьму. Кто не ответит — не обижайся, иди к костру.

— А что спросишь?

— Узнаешь.

Подходили по одному.

Скорев сидел на коне и спрашивал. Клещ сидел рядом на своём кривом гнедом и смотрел не на тех, кто подходил, а на их руки, на ноги, на пояса, — смотрел так, как смотрят на коня на ярмарке, — и время от времени коротко качал головой или кивал, и Скорев видел это краем глаза.

Спрашивал он одно и то же.

— Кому отдать, если ляжешь?

Это был первый вопрос. Тот, кто отвечал «никому», — того он не брал. Тот, кто отвечал «а тебе какое дело», — не брал тоже. Тот, кто называл кого-то — мать в Ротау, брата, жену, хоть девку в кабаке, — того он слушал дальше.

— Сколько пьёшь?

Тут врали все, и это было хорошо, потому что важен был не ответ, а то, как врут. Кто говорил «капли в рот не беру» — тот пил так, что на это и смотреть было незачем. Кто говорил «как все» и пожимал плечами — тот пил, как все, и это можно было вынести. Кто начинал рассказывать, сколько выпил на прошлой неделе и как потом подрался, — того Скорев не дослушивал.

— Что ты делал, когда в последний раз побежали?

Это был третий вопрос, и главный.

Солдаты бегут все. Нет солдата, который не бегал. Бегут роты, бегут полки, бегут целые армии, и в каждой бегущей армии одни бегут, бросив всё, а другие — бегут, но держатся вместе, тащат раненого, прикрывают отход. И то, что чело-

век делал, когда бежали, говорит о нём больше, чем всё, что он делал, когда стояли.

Одни отвечали, что не бегали никогда. Этих Скорев не брал.

Другие рассказывали.

К полудню у него было пятеро.

Первый — Мельхиор, лет тридцати, тихий, с плоским лицом и белыми ресницами. Пикинёр. Отдать — брату, в Ротау: брат кузнец и хромой, работы мало. Пьёт как все. Когда последний раз бежали — под Реттенбахом, — он тащил на себе капрала, у которого было раздроблено колено, и капрал по дороге помер, и он его всё равно тащил, потому что, как сказал, «не бросать же».

Второй — Ахим, старше всех, седой, глуховатый на левое ухо. Арбалетчик. Отдать — никому, но потом подумал и сказал: «Дочке. Она за мельником, в Кроненфельде, она меня знать не хочет, а деньги возьмёт». Пьёт мало. Когда бежали, он тетиву с арбалета снял и за пазуху сунул, чтобы не намокла, а сам арбалет бросил, и потом жалел, но тетиву донёс.

Третий — Бартель, рыжий, низкий, плечистый, с руками, как лопаты. Землекоп при осадах, подкопщик. Отдать — жене. Жена в городе, двое детей. Пьёт — тут он засмеялся и сказал: «Как жена позволит». Когда бежали, он бежал последним, потому что копал под стеной и не слышал, что все уже бегут.

Четвёртый — Эберт, худой, жилистый, со шрамом через

губу. Алебардщик. Отдать — матери, в деревне под Кронен-фельдом. Пьёт как все. Когда бежали — стоял в заслоне, на мосту, полчаса, пока свои уходили.

Пятый — Длинный Петер. Он был такого роста, что сидел на корточках, когда с ним говорили, иначе Скореву пришлось бы задирать голову. Пикинёр, как Мельхиор. Отдать — отцу. Пьёт много, сказал честно, и Скорев его взял за то, что сказал честно. Когда бежали — нёс знамя, потому что знаменосца убили, а знамя больше нести было некому, и его, длинного, было видно с любого конца поля, и по знамени свои собирались.

Шестого не было.

Скорев ждал. Подходили ещё — человек восемь, — и не годился ни один. Один пьян был с утра. Другой на первый вопрос сказал: «Никому, мне никого не надо». Третий на третий вопрос стал рассказывать, как он бежал быстрее всех и потому жив, и рассказывал с гордостью.

А потом подошёл ещё один.

Он подошёл последним, когда Скорев уже собирался поворачивать коня, и подошёл не так, как подходили другие, — не с вопросом, а молча, и встал перед Хватом, и стал смотреть на Скорева снизу вверх.

Молодой. Лет двадцати. Белобрысый, с обмороженными до красноты ушами, тощий, в рваной куртке, и в руках у него было копьё — старое, с наконечником, примотанным к древку сыромятным ремнём.

Скорев смотрел на копьё.

Он смотрел на это копьё и вспоминал — и в этот раз это была не память отставного солдата, а его собственная, своя: харчевня у Лоренца, третий день, трое у стола, пиво на двоих, и молодой с копьём на примотанном древке, который слушал внимательнее всех.

— Ты нас тогда кружкой, — сказал молодой. — А не топором.

— Кружкой, — сказал Скорев.

— Ты сказал — в Кроненфельд. Спрашивать на заставе, кто нанимает.

— Сказал.

— Мы и пришли, — сказал молодой. — Месяц назад. Спрашивали. Никто не нанимает. Зима.

— А где те двое?

Молодой помолчал.

— Бодо и Бернт, — сказал он. — Ушли.

— Куда?

— К волкам, — сказал молодой. — В октябре ещё. С голоду. Там кормят. Там, говорят, даже платят. Бодо первый ушёл, а Бернт за ним. Меня звали.

— А ты?

— А я не пошёл.

— Почему?

Молодой посмотрел в сторону, на костры, на тех, кто там стоял.

— Я видел, как они режут, — сказал он. — В Волчьем логу. Мы туда ходили с Бернтом, когда ещё не решили, — посмотреть. Они обоз взяли. Возчиков повязали. И потом резали. Связанных. По одному. Чтобы другие смотрели.

Он помолчал.

— Я на войне был три года, — сказал он. — Я видел всякое. Но я не видел, чтобы связанных резали за так. Не за деньги, не со зла. А чтобы другие смотрели. Чтобы боялись. Я не пошёл.

Скорев молчал.

— Как звать? — спросил он.

— Тиль.

— Кому отдать, если ляжешь?

Тиль подумал.

— Не знаю, — сказал он честно. — Некому. Мать померла, отца не помню.

— Сколько пьёшь?

— Когда есть что.

— А когда побежали в последний раз?

— Это было при тебе, — сказал Тиль. — Ты нас тогда отпустил. Мы бежали от тебя. Я бежал последним, потому что Бодо держался за руку, ты ему пальцы разбил. Я его вёл.

Скорев посмотрел на Клеща. Клещ посмотрел на Тиля, на копьё, на сыромятный ремень, на обмороженные уши, — и кивнул.

— Нанят, — сказал Скорев. — Два талера на две неде-

ли. Если ляжешь — гильдия заплатит. Найдёшь кому — скажешь мне.

— А если не найду?

— Тогда эти два талера пойдут на твои похороны, — сказал Скорев. — Это тоже кому-то.

Тиль кивнул, будто это было ясно с самого начала.

— Ты с Бернтом видишься? — спросил Скорев, когда ехали назад.

Тиль шёл у стремени, с копьём на плече.

— Нет. Он теперь там. Сюда не ходит.

— А весточку передать можно?

Тиль покосился на него.

— Можно, — сказал он, помолчав. — Есть мальчишка на мельнице у Хольцбаха. Он туда носит. Хлеб. Они у мельника хлеб берут, платят. Мальчишка носит. Он и весточку снесёт, если дать.

— Сколько?

— Пфенниг. Два.

— Ладно, — сказал Скорев. — Это потом.

Учить начали в тот же день.

Двор у чумного дома был шагов двадцать на двадцать, и бурьян в нём выкосили в первый же день, а мёртвую траву сожгли вместе с тюфяками, так что двор теперь был голый, мокрый и чёрный, как пепелище, и учить в нём было удобно.

Ханс учился стрелять.

Арбалет у него теперь был свой — тот, что сняли со стрел-

ка у выворотня, — с козьей ножкой, лёгкий, с ложем, обмотанным бечёвкой. Взводить его было просто: упереть, накинуть рычаг, рвануть на себя — и тетива на орехе. Ханс за день научился делать это за счёт до пяти.

Целиться было труднее.

— Не сверху, — сказал Скорев. — Ты его опускаешь сверху, как лучники. Лучнику так можно: у лука стрела летит высоко. А болт летит низко и прямо, и пока ты его опускаешь, рука у тебя идёт, и болт уходит выше головы. Поднимай снизу. От сапог.

— От сапог?

— Смотри человеку на сапоги, — сказал Скорев. — И поднимай, пока не дойдёшь до пояса. На поясе стреляй. Пояс у всех одинаковый, а голова у каждого своя.

Ханс поднимал от сапог. Скорев поставил на другом конце двора старую бочку, а на бочку — горшок, и Ханс стрелял в горшок, и первые пять болтов ушли в забор, а шестой разбил горшок вдребезги, и Ханс даже не обрадовался, а пошёл собирать болты, потому что болты стоили денег.

Клаус учился кидать.

Камни он кидал и так, и кидал хорошо, — это он доказал и Липпольду, и тем, у выворотня. Но камень из руки летит на двадцать шагов. А Скореву надо было дальше.

Вечером первого дня он сел у очага и сделал пращу.

Он не знал, откуда знает, как её делать. Может быть, это было из той жизни — из книжки, из кино, из какого-нибудь

музея с рыцарями, куда его водили в детстве. А может быть, из этой — отставной солдат мог видеть пращников где-нибудь под Мальбургом или под Лаубахом. Руки знали. Он взял кожаный ремень, вырезал из него ножом ложе — с ладонь, посередине пошире, — проколол по краям и привязал два шнура, каждый длиной в руку. На конце одного шнура сделал петлю, на палец. Конец другого завязал узлом.

— Это чего? — спросил Клаус, который смотрел на это с лавки, вытянув ногу.

— Праща, — сказал Скорев. — Давид из неё Голиафа убил.

— Какого Голиафа?

— Здорового. Вроде Липпольда.

Клаус посмотрел на пращу с уважением.

Утром Скорев вывел его во двор, посадил на бочку — стоять Клаус пока не мог, — и показал. Петлю на палец. Узел между пальцами. Камень в ложе. Раскрутить над головой — раз, другой, третий. И на третьем отпустить узел.

Первый камень улетел за забор, к соседям, и там что-то разбилось и закричала женщина.

Второй ударил в стену дома.

Третий ушёл вверх, в небо, и упал неизвестно где.

Клаус сидел на бочке красный, злой, со слезами на глазах, и Скорев стоял рядом и молчал.

— Не выходит, — сказал Клаус.

— Выйдет, — сказал Скорев. — Ты руку держишь не так.

Ты кидаешь, как камень кидаешь. А тут не ты кидаешь, а ремень. Ты только отпускаешь. Отпускай, когда рука идёт вперёд, а не когда она уже наверху.

Клаус кидал до обеда.

К обеду он попал в бочку.

К вечеру он попал в горшок на бочке — с тридцати шагов, — и горшок разлетелся, и Клаус заорал так, что во дворе у соседей опять закричала женщина.

— Праща кидает впятеро дальше руки, — сказал Скорев. — И впятеро сильнее. Камень с руки ты кинешь в лицо — человек ругнётся. Камень с пращи — человек ляжет. Запомни это и никому в лицо просто так не кидай.

— А Липпольду?

— Липпольду кидай, — сказал Скорев. — Если встретишь.

Клаус смотрел на пращу у себя в руке так, как Ханс смотрел на свой арбалет.

С Ханно было сложнее всего.

Ханно ничего не говорил и ничего не просил. Он ходил по двору, носил воду, колол дрова одной рукой, прижимая полено коленом, и кормил собаку — собака теперь ела только из его руки и ни из чьей больше, — и смотрел, как учат других. Он смотрел на Ханса с арбалетом и на Клауса с пращой, и лицо у него было пустое.

На третий день Скорев позвал его к сараю, где никто не видел.

— Покажи нож.

Ханно достал нож. Это был простой нож, деревенский, с костяной ручкой, — тот, которым он резал у выворотня.

— Ты левой бьёшь, — сказал Скорев.

Ханно кивнул.

— А правой держишь. — Скорев кивнул на его прижатую к груди руку. — Там, в лесу, ты его правой за морду взял. Сожжённой.

Ханно посмотрел на свою руку.

— Держать можно, — сказал он. Это было первое, что Скорев услышал от него за эту неделю. Голос у него был хриплый, как будто им давно не пользовались. — Сжать не могу. А зацепить могу. Как крюком.

— Как крюком, — повторил Скорев. — Это хорошо. Но это не всегда. Тот был оглушённый, он сидел. А стоячего ты крюком не зацепишь. Стоячий тебя оттолкнёт, и ты упадёшь, а у тебя одна рука, чтобы встать.

Ханно смотрел на него.

— Одной рукой держать нельзя, — сказал Скорев. — Значит, не держи. Совсем. Не хватай, не цепляй. Подошёл — ударил — отошёл. Вот так.

Он взял у Ханно нож. Повернулся к мешку с соломой, висевшему на гвозде у двери сарая, — мешок повесили для Ханса, чтобы тот учился стрелять в мягкое, — и показал.

Не сверху. Снизу. Нож в кулаке лезвием вверх, от пояса, коротко, под рёбра, слева, — и вверх, туда, где под рёбрами

то, что не зашивается. Удар шёл не от плеча, а от ноги, от поворота всего тела, и рука в этом ударе была только концом, а не началом. И сразу — назад. Шаг назад, нож у пояса.

— Снизу, под рёбра, и отходи, — сказал Скорев. — Под рёбра человек не закрывается. Голову он закрывает, шею закрывает, грудь закрывает, а под рёбра — нет, потому что не видит, что туда идёт. Ты ниже его ростом, ты ближе к земле, тебе туда бить удобнее, чем ему тебя доставать. Ударил — и назад. Не жди, пока он упадёт. Он сам упадёт. Твоё дело — уйти.

Он отдал нож.

Ханно взял нож левой рукой. Повертел. Повернулся к мешку.

И ударил.

Ударил плохо — от плеча, а не от ноги, и сверху, а не снизу, — и Скорев показал ещё раз. И ещё. И Ханно бил, пока Скорев не ушёл в дом, и бил после, — Скорев слышал из дома глухие удары по мешку, ровные, как удары сердца, до самой темноты.

Наутро у мешка с соломой был вспорот весь бок.

Скорев посмотрел на мешок и ничего не сказал.

Он подумал, что это надо запомнить, — так же, как подумал на дороге, когда Ханно вытер нож о шкуру. И опять не стал разбираться, что именно.

Клещ гонял новых.

Это Клещ умел лучше всего на свете, и это было видно

с первой минуты. Он сидел на коне посреди двора, как на троне, и орал на них — на Мельхиора, на Ахима, на Бартеля, на Эберта, на Длинного Петера, на Тиля и на Лукаса, — и они ходили перед ним парами, копьё и щит, щит и копьё, и он орал, что они ходят, как коровы на водопой, как бабы на базар, как попы на поминки, и они ходили снова.

— Пара! — орал Клещ. — Пара — это не двое! Пара — это один! Один с четырьмя руками! Копейщик колет — щитовой закрывает! Щитовой закрывает — копейщик колет! Не оба колют! Не оба закрывают! Один колет, другой закрывает! Петер! Ты чего колешь? Ты щитовой! Твоё дело — Мельхиора закрыть! Он тебе брат, он тебе мать, он тебе жена! Закрой жену!

Длинный Петер, который был выше Клеща на коне, закрывал Мельхиора щитом.

Лукас ходил в паре с Тилем. Тиль колол, Лукас закрывал. У Лукаса не было ничего, кроме кожевенного ножа и красных рук, и Скорев купил ему на рынке старый щит и шлем — за щит крейцеров двадцать, за шлем тридцать, а у оружейника из гильдии, куда сунулся сначала, за то же самое просили втрое. Шлем был велик и съезжал на глаза. Лукас поправлял его каждую минуту.

— Шлем подвяжи! — орал Клещ. — Ты кто — солдат или пугало?

Лукас подвязывал.

К вечеру четвёртого дня они ходили парами так, что Клещ

перестал орать и только хмыкал, и это было больше, чем похвала.

— Ну? — спросил Скорев, когда вечером сидели у очага.

— Говно, — сказал Клещ. — Но не такое, как утром.

— За неделю будут?

— За неделю будут говно, которое можно поставить в строй. За месяц — может, и солдаты. — Клещ отхлебнул из кружки. — А у тебя месяц есть?

— Нет.

— Ну вот. Значит, говно.

Скорев кивнул.

— Мне не нужны солдаты, — сказал он. — Мне нужны люди, которые будут стоять там, где я их поставлю, и делать одно дело. Солдаты — это для поля. А в поле я с ними не выйду. Против пятидесяти в поле я их положу за полчаса.

— А куда выйдешь?

— Туда, где поля нет, — сказал Скорев. — В лес. В овраг. В темноту. Туда, где пятьдесят не могут встать в строй, потому что им негде.

Клещ посмотрел на него поверх кружки.

— Ты так раньше не воевал, — сказал он.

— Раньше меня по голове не били.

— Ты это всё время говоришь.

— Потому что это правда.

Клещ хмыкнул и допил.

Каспар в эти дни писал.

Он писал письмо Финку в Гербштадт, и писал его два вечера, потому что Скорев трижды заставлял переписывать: Финк был человек осторожный, и письмо, которое прочтут не те, должно было для не тех читаться как письмо о починке кольчуги, а для Финка — как то, что оно было на самом деле.

В письме было: три арбалета, лёгких, с козьей ножкой, «какие ты делал, когда тебя из цеха выкинули», сотня болтов, из них полсотни гранёных, шесть ежей, «против собак, как в тот раз», и починка двух кольчуг. Плачу по приходу.

— Он поймёт? — спросил Скорев.

— Он поймёт, экселенц, — сказал Каспар. — Я ему написал: «Пришли то, за что тебя из цеха выкинули». Этого не поймёт никто, кроме него. А он — сразу.

Письмо отправили с возчиком, который шёл на север, через лес. Возчику дали шесть крейцеров и пообещали ещё шесть, когда вернётся с ответом.

— Дойдёт? — спросил Скорев.

— Если возчика не зарежут — дойдёт, — сказал Каспар.

Деньги Скорев считал каждый вечер.

Семерым наёмным — по два талера на две недели, вперёд: четырнадцать талеров. Щит и шлем Лукасу — полталера без малого. Три копья к тем, что сняли в лесу, и два щита — ещё два талера. Известь, дрова, овёс, хлеб, крупа, сало — на четырнадцать ртов, если считать коней за рты, а коней за рты считать надо, потому что кони едят больше людей. Возчику шесть крейцеров. Мальчишке у мельницы — два пфеннига,

на будущее.

Было тридцать шесть. Стало семнадцать.

Семнадцать талеров — это он посчитал — на четырнадцать ртов, если ничего не случится, хватит недели на три. А через две недели наёмным опять платить.

— Не хватит, — сказал Каспар, заглядывая ему через плечо.

— Не хватит, — согласился Скорев.

— И что?

— Значит, надо, чтобы случилось, — сказал Скорев. — Гильдия платит за головы. Головы на дороге.

— Это вы так шутите, экселенц?

— Нет, — сказал Скорев. — Это я считаю.

На пятый день, к вечеру, с юга пришли сани.

Скорев был во дворе, когда по Кожевенной побежали мальчишки и кто-то закричал у колодца, и он вышел за ворота, и увидел, что все бегут вверх, к площади, и пошёл тоже.

На площади, у кирхи, стояли двое саней, и вокруг них толпился народ, и кто-то плакал.

Сани привезли мужики из Хольцбаха — деревни у мельницы, в полудне пути на юг. Привезли шестерых.

Шестерых положили на паперти кирхи, в ряд, на солому, как кладут для опознания, и накрыли рогожей, а лица оставили открытыми. Это были возчики. Хлебный обоз — не соляной, а хлебный, малый, пять подвод, — шёл из-за Дрейвеге в Кроненфельд, с зерном, и мужики, у которых в городе

были родные, взялись его везти, потому что за зерно в городе давали вдвое. Обоз взяли в Волчьем логу, три дня назад. Мужики из Хольцбаха нашли их у дороги, когда ходили за хворостом.

Скорев протолкался к паперти.

Он стоял и смотрел, как подходят женщины — одна, другая, — и как одна из них опустилась на колени перед третьим с краю и завыла, тонко, на одной ноте. И он смотрел на неё, пока смотреть было можно, а потом стал смотреть на мёртвых.

Он смотрел так, как смотрел всегда: не на лица, а на раны.

У двоих в груди сидели болты. Болты не вынули — видно, мужики из Хольцбаха побоялись тянуть, — и древки торчали из груди, и наконечников не было видно. Скорев присел перед первым — ребро дёрнуло, он не обратил внимания, — и, не спрашивая ни у кого разрешения, взялся за древко и вытащил болт.

Кто-то в толпе ахнул.

Болт был новый.

Это было видно сразу. Древко — ровное, гладкое, светлое, без трещин и без грязи, какая бывает на болтах, которые стреляли много раз и подбирали с земли. Оперение — свежее, кожаное. А наконечник был гранёный, четырёхгранный, длинный, как шило, и острый так, что Скорев, проведя пальцем по грани, порезал палец.

Бронебойный. Такими бьют не мужика в рубахе, а латника

в кирасе. Такими бьют на полсотни шагов, сквозь железо.

Он вспомнил Финка. Финк продал ему двенадцать таких — по два крейцера за штуку, — и сказал, что цех запрещает продавать бронебойные болты без записи: кому, сколько, куда.

Два крейцера за болт. Гусь на рынке стоит два крейцера. Бронебойный болт дороже гуся, если покупать не у Финка, а в ряду.

И этим болтом убили возчика в рубахе, который вёз зерно.

Он отложил болт и стал смотреть остальных.

У остальных четверых болтов не было. У них были перерезаны горла. Аккуратно — одним движением, слева направо, — и у всех одинаково, будто резал один человек. И на запястьях у всех четверых были красные полосы. Скорев взял одного за руку и повернул. Полосы шли вокруг запястья, вдавленные в кожу, с синяками по краям.

Верёвка.

Их связали. Сперва связали, потом подержали — сколько? — а потом резали. По одному.

Чтобы другие смотрели.

Он вспомнил, что сказал Тиль на пустыре. Связанных. По одному. Не за деньги, не со зла. Чтобы другие смотрели. Чтобы боялись.

Скорев встал.

Он стоял над шестью мёртвыми возчиками на паперти, и женщина рядом с ним всё выла на одной ноте, и толпа гудела,

и кто-то сказал за его спиной:

— Волки. Это волки. Им горло перегрызли.

— Перерезали, — сказал Скорев, не оборачиваясь.

Голоса за спиной стихли.

Он постоял ещё и пошёл назад, вниз, на Кожевенную, и всю дорогу думал.

Голодный человек, который грабит на дороге, берёт и бежит. Ему не до того, чтобы вязать и резать по одному. Ему надо схватить мешок зерна и унести, пока не догнали, и съесть его в лесу, и он не тратит на возчика бронебойный болт за два крейцера, потому что за два крейцера он может купить хлеба на два дня. Голодный человек не режет связанных — ему это незачем. Голодный человек жалеет время, жалеет силы и жалеет болты.

А эти не жалели.

Эти тратили бронебойный болт на мужика в рубахе. Эти вязали и резали по одному, на глазах у остальных, — и потом бросали тела у дороги, где их найдут. Чтобы нашли. Чтобы привезли в город и положили на паперти. Чтобы женщина выла на одной ноте. Чтобы весь город знал, что бывает с теми, кто повезёт по этой дороге хоть зерно, хоть соль, хоть что.

Голодные берут и бегут.

Эти режут, чтоб боялись.

И, значит, им платят не за зерно. Им платят за страх. А за страх платит тот, кому этот страх выгоден. Тот, кто может

позволить себе бронебойный болт на возчика. Тот, у кого в сундуке лежат талеры, которые ещё ни по чьим рукам не ходили.

Дома было тихо. Все уже знали — Ханс бегал на площадь и прибежал раньше него. Сидели внизу у очага. Наёмные — семеро — сидели на лавке вдоль стены, и никто не говорил ни слова, и Лукас был бледен, а Тиль смотрел в огонь.

Скорев сел на плиту.

— Ну? — сказал Клещ.

— Шестеро, — сказал Скорев. — Двое болтами, четверо — горло, связанных. Болты бронебойные, новые.

— Новые, — сказал Ахим, старый арбалетчик, и посмотрел на Скорева. — Это откуда у волков новые?

— Вот и я думаю, — сказал Скорев.

Он посмотрел на них — на семерых наёмных, на своих шестерых, на собаку у ног Ханно, — и подумал, что вот теперь они знают, куда он их ведёт. Не к голодным мужикам с дубьём. А к тем, кто режет связанных, чтобы боялись, и стреляет бронебойными в возчиков.

Если кто-то хочет уйти, сейчас самое время.

Он ждал.

Никто не ушёл.

Мельхиор сидел и смотрел в пол. Бартель тёр свои лопаты-руки одну о другую. Длинный Петер, сидя на корточках у стены, ковырял ножом пол. Эберт что-то шептал — молился, что ли. Ахим смотрел на Скорева. Тиль смотрел в огонь.

Лукас сказал:

— Ханнесу тоже так?

— Нет, — сказал Скорев. — Ханнес погиб в бою. С копьём в руках. Его не вязали.

Лукас кивнул. Щека у него дёрнулась.

— Это хорошо, — сказал он.

Скорев посмотрел на него и ничего не ответил.

Он сидел на плите, под которой лежали тетради, и думал о том, что у него теперь тринадцать человек, считая его самого, и что из тринадцати драться по-настоящему умеет один Клещ, да и тот с коня. И что против них сорок или пятьдесят, которые режут связанных, и у которых новые бронебойные болты, и которым кто-то платит за страх.

Драться не умеет никто.

Значит, будем убивать.

Глава пятая. Подковы

На разведку он взял двоих: Ханно с собакой и Тиля.

Клещ хотел ехать тоже и обиделся, когда не взяли, и Скорев объяснил ему, что одноногого на кривом коне с бельмом видно за версту и слышно за две, и что для того, куда они идут, нужно не стоять троих, а пройти так, чтобы никто не увидел и одного.

— А этот? — Клещ кивнул на Ханно. — Он что, не виден?

— Этот — Венделев внук, — сказал Скорев. — Вендель сорок лет ходил по лесу так, что я его не слышал за пять шагов. Посмотрим, чему он внука научил.

— А этот? — Клещ кивнул на Тиля.

— Этот знает, где они стояли.

Клещ поворчал и остался.

Вышли затемно. Пешими — Хвата Скорев оставил, потому что конь в лесу громче трёх человек. Шли на юг, по дороге до Хольцбаха, а за Хольцбахом, у мельницы, свернули с дороги в лес, и там Тиль повёл.

Тиль вёл неплохо. Он шёл ровно, не торопясь, смотрел под ноги, и Скорев видел, что парень три года ходил в дозоры и кое-чему там научился. Но через полчаса Ханно, который шёл последним, вдруг обошёл их обоих, молча, и пошёл впереди, и Тиль, оглянувшись на Скорева, отступил.

Ханно шёл иначе.

Он шёл не прямо, а под углом — так, как ходил Вендель, огибая что-то невидимое, — и ставил ногу не на землю, а на то, что под землёй: на корень, на камень, на кочку, на старую хвою, которая не хрустит. Он не смотрел под ноги. Он смотрел вперёд, на деревья, и ноги у него сами знали, куда ступать. Собака шла рядом, у его колена, и не отходила ни на шаг.

Скорев шёл за ним и думал о том, что этого нельзя выучить. Это можно только впитать, как впитывают язык, — с малых лет, от деда, который сорок лет ходил по лесу. И что Вендель, должно быть, водил внука с собой с тех пор, как тот научился ходить. И что теперь Вендель лежит за оградой Мариенхофа, не в освящённой земле, потому что заплатить за него было нечем, а внук идёт по чужому лесу его походкой.

Ханно остановился.

Он остановился так резко, что Скорев чуть не налетел на него, и поднял левую руку. Собака легла.

Скорев посмотрел туда, куда смотрел Ханно.

Ничего. Ельник, бурелом, просвет между стволами. Тихо.

Ханно стоял и смотрел, и ноздри у него шевелились.

— Дым, — сказал он шёпотом.

Скорев втянул воздух. Хвоя, мокрая кора, прелая листва. И — да. Еле-еле. Старый дым, холодный, тот, что остаётся от кострища, когда его залили водой и ушли.

— Старый, — сказал Ханно. — Дня три.

Они пошли на дым.

Стоянка была в низине, у ручья, шагах в трёхстах от дороги, за ельником, и с дороги её нельзя было увидеть, даже если знать, где искать. Это Скорев отметил первым: место выбирал человек, который понимал, где ставить лагерь, а где нет.

Лагерь бросили.

Бросили не второпях, а просто ушли — так уходят, когда срок вышел и пора на другое место. Кострища залили. Шалаши из лапника стояли, где стояли, и в одном валялась драная рогожа. У ручья была натоптана тропа к воде. В стороне, шагах в тридцати, за ёлками, были вырыты ямы.

Скорев сел на поваленное бревно, потому что ребро после трёх часов пешком болело так, что дышать приходилось через раз, и стал смотреть.

Он смотрел, как учил мальчишек смотреть на двор Аарона: не что видишь, а сколько.

— Считай кострища, — сказал он Тилю.

Тиль пошёл считать.

— Ханно. Ямы.

Ханно пошёл к ямам.

Скорев смотрел на шалаши. Шалашей было девять. В каждый влезет человек пять, если тесно. Девять на пять — сорок пять.

— Девять, — сказал Тиль, вернувшись. — Кострищ девять. Одно побольше. Там, видно, котёл стоял, — вон камни.

— Девять, — сказал Скорев. — По пять у костра — сорок

пять.

Ханно вернулся от ям.

— Четыре ямы, — сказал он. — Глубокие. Полные.

— За сколько дней?

Ханно подумал.

— Дед говорил: человек в день — горсть, — сказал он. Это было уже второе, что он сказал за день, и Скорев отметил, что на разведке он говорит больше, чем дома. — Тут — много. Дней на пять. Человек на сорок.

— На сорок, — повторил Скорев.

Сорок или сорок пять. Это сходилось. Это было не пятьдесят, как говорили купцы, и не полсотни, как говорил гильдейский писарь, и не «кто их считал». Это было сорок с чем-то.

Он встал и пошёл смотреть кострища сам.

В большом кострище, где стоял котёл, были кости. Он поворошил золу палкой. Кости были крупные, трубчатые, перерубленные топором, чтобы достать мозг. Бычьи. И одна — лопатка, тонкая, — телячья.

— Мясо, — сказал Тиль, заглядывая через плечо. — Они мясо едят.

— Говядину, — сказал Скорев. — И телятину. Ты когда в последний раз ел говядину, Тиль?

Тиль подумал.

— На Пасху, — сказал он. — В позапрошлом году. В Лаубахе, когда город взяли.

— А они её едят в лесу, в ноябре.

Тиль ничего не сказал.

Скорев пошёл к тропе, что вела к ручью.

Тропа была натоптана в глину, и глина держала следы так, как держит воск. Он присел — ребро — и стал смотреть.

Сапоги.

Много сапог. Ходили к воде десятки раз, туда и обратно, и следы ложились один на другой, но там, где глина была плотнее, у самой воды, отпечатки были чёткие. И в каждом отпечатке, в каблуке, сидели три гвоздя. Треугольником. Два сзади, один спереди.

Он посмотрел другой след. Три гвоздя, треугольником.

Третий. Три гвоздя.

Он прошёл вдоль тропы и посмотрел ещё штук двадцать, и все были одинаковые — разного размера, большие и маленькие, широкие и узкие, но гвозди в каблуке сидели у всех одинаково. Треугольником, по три.

— Тиль, — сказал он. — Покажи подошву.

Тиль поднял ногу. Сапог у него был старый, дырявый, подвязанный бечёвкой, и гвоздей в каблуке не было ни одного — выпали давно, и каблук стёрся до кожи.

— А у Бодо какие были?

— Такие же, — сказал Тиль. — Он ещё хуже ходил. У него подошва отставала.

— А у Бернта?

— У Бернта были деревянные. Башмаки.

Скорев встал.

— Тут сорок человек, — сказал он, — и у всех сорока сапоги. Новые. И подбиты одинаково, тремя гвоздями треугольником. Значит, их шил один сапожник. Или одна мастерская. На сорок пар сразу. Ты знаешь, сколько стоит пара сапог?

— Талер, — сказал Тиль. — Если хорошие — больше.

— Сорок талеров, — сказал Скорев. — Сапоги на сорок человек. Это тебе не пять подвод с зерном.

Ханно стоял у ручья и смотрел на другое.

Он смотрел на берег ниже по течению, где тропа уходила к броду, и, когда Скорев подошёл, показал пальцем левой руки вниз, на глину.

Там были следы коней.

Немного — пять, может, шесть коней, — и они спускались к броду и пили, и глина под копытами была взбита в кашу. Но у самого края, там, где конь ставит переднюю ногу, прежде чем войти в воду, был один отпечаток — целый, чёткий, как печать на воске.

Скорев присел над ним.

Подкова. Не голое копыто, а подкова — полукруг с гвоздями по краю. И на концах подковы, сзади, — два бугорка. Шипы.

Зимняя ковка. С шипами, чтобы конь не скользил на льду.

Он сидел над этим следом и думал, и Ханно стоял рядом, и Тиль, и собака, и никто ничего не говорил.

Дезертир коня не куёт.

Это Скорев знал из обеих своих жизней. Дезертир — это человек, который бежал из армии без жалованья, без хлеба, без всего. Если у него есть конь — это краденый конь, и он его ест или продаёт, но не куёт, потому что ковка стоит денег, а у дезертира денег нет. А зимняя ковка, с шипами, стоит вдвое. Её делает кузнец, которому платят. Её делают для тех коней, которых берегут.

Тут коней берегли.

— Это не дезертиры, — сказал он вслух.

— А кто? — спросил Тиль.

Скорев встал.

— Это рота, — сказал он. — Рота на жалованье. Им платят. Их кормят мясом. Им шьют сапоги на всех сразу. Им куют коней на зиму. Им покупают бронебойные болты, которые дороже гуся. Это не голодные. Голодные так не живут.

Тиль смотрел на него.

— Бернт говорил, там платят, — сказал он медленно. — Я думал — так, врёт. Чтобы меня сманить.

— Не врал, — сказал Скорев.

— А кто платит?

— Вот это, — сказал Скорев, — и надо узнать.

На обратном пути, уже у дороги, Ханно опять остановился и показал на ёлку.

На нижней ветке ёлки, на уровне груди, висел клок шерсти. Серой, жёсткой, с подпушью. Ханно снял его, понюхал

и отдал Скореву.

Волчья.

Скорев повертел клок в пальцах. Шерсть была чистая, светлая у корня, без грязи и без колтунов. И на одном волоске, у корня, висел крошечный кусочек кожи — мездры. Белой. Выделанной.

Не с волка. Со шкуры.

И шкура эта была выделана не в лесу, в дыму, кое-как, как выделывают мужики, а чисто, с квасцами, — так, что мездра белая. Так выделывают в городе.

Каспар пошёл к скорнякам на другой день и вернулся к вечеру.

Скорняков в Кроненфельде было трое, и двое ничего не знали или не хотели знать. Третий — старый, кривой на один глаз, — сперва не хотел тоже, а потом, когда Каспар сказал ему, что пишет за людей письма и прошения и может написать ему жалобу на соседа, который уже второй год не отдаёт долг за беличьи шкурки, — растаял.

— Сорок волчьих, экселенц, — сказал Каспар. — Летом. В июле, перед Иаковом. Заказ был. Ему принесли шкуры — сырые, сорок штук, — и велели выделать. С мордами. Чтобы морды целые, как колпаки. Он выделывал месяц. Ему заплатили — по сорок крейцеров за шкуру. Хорошо заплатили, он сказал, против его цены втрое.

— Кто принёс?

— Человек в добром плаще, — сказал Каспар. — Лица не

помнит. Капюшон. Платил новыми.

— Новыми?

— Новыми талерами, экселенц. Я спросил. Он сказал: новые, будто вчера чеканены, он ещё удивился. — Каспар помолчал. — Двадцать шесть талеров и сорок крейцеров. За сорок шкур. Новыми.

Скорев сидел на плите у очага и молчал.

— Два раза, — сказал он наконец. — Привратнику — новыми. Скорняку — новыми.

— Два раза, экселенц.

— И волки на дороге с бронебойными болтами. И в сапогах. И на кованых конях.

— Экселенц, — сказал Каспар осторожно. — Это ж кто-то богатый.

— Это кто-то, у кого есть сундук с новыми талерами, — сказал Скорев. — Так, как у Хойзингера был лес. Только больше.

Он поднялся и пошёл наверх.

Он вернулся с выпиской.

Выписка из поземельной книги магистрата Гербштадта лежала у него в поясе с самого Гербштадта — два листа, писарская рука, печать магистрата в углу, сорок крейцеров. Он носил её при себе всегда, вместе с поясом, и ни разу за этот месяц не доставал, потому что знал её наизусть. Вернее, думал, что знает.

Он развернул её на столе при свече и позвал Каспара.

— Читай, — сказал он. — Шесть закладных. Не цифры. Названия.

Каспар наклонился над листом.

— «Первая. Остерхоф, — прочёл он, — земля и двор кавалера Ульбрехта фон Остерхофа, с угодьями. Заимодавец — дом Конрада Хойзингера, суконщика, за него по доверенности Ю. Мерк. Срок — Михайлов день прошлого года. Отметка: перешло». Это первая, экселенц.

— Дальше.

— «Вторая. Брайтенау, деревни Верхняя и Нижняя, земля фон Брайтенау…» Срок — Мартынов день сего года. Отметки нет — тогда ещё не было, мы ж брали до Мартынова. «Третья. Кальтенбрунн…» Срок — Мартынов день. «Четвёртая — Вельде». Это наша. «Пятая. Дрейвеге, усадьба и земля кавалера Хартвига фон Дрейвеге…»

Каспар поднял голову.

— Дрейвеге, экселенц.

— Читай дальше.

— «…срок — Михайлов день сего года. Отметка: перешло». — Каспар помолчал. — Это та, что сработала месяц назад. Мы тогда ещё говорили: одна была на Михайлов день. Это она. Дрейвеге.

— Дальше.

— «Шестая. Линденау, земля и деревни фон Линденау. Срок — Мартынов день будущего года».

Каспар отодвинулся от листа.

— Экселенц, — сказал он. — Дрейвеге — это ж там, где волки стоят.

— Там, — сказал Скорев. — Там, где Волчий лог и соляная дорога.

— Волки сидят на земле, которая с Михайлова дня — Хойзингерова.

— Сидят, — сказал Скорев.

Каспар перекрестился.

— А теперь, — сказал Скорев, — мне надо знать, где волки жгли. Не в этом году. За три года. Где, когда, сколько. Каждый раз.

— Где ж я это возьму?

— В кирхе, — сказал Скорев. — У попа есть книга. Кто помер, когда, от чего. Если от волков — так и написано: убит волками. И где. Ты по-латыни умеешь, ты эту книгу прочтёшь лучше, чем поп.

Каспар смотрел на него круглыми светлыми глазами.

— Экселенц, — сказал он. — Вы страшный человек.

— Мне это говорят.

Книгу Каспар читал два дня.

Поп в кирхе на площади был старый, полуслепой и не очень понимал, зачем человеку из Гербштадта книга погребений за три года. Каспар объяснил ему, что ищет родню — дядю, который пропал на дорогах, — и поп, растрогавшись, пустил его в ризницу и дал свечу. Каспар сидел там с утра до вечера, переписывая на свой лист всё, где было «убит» или

«найден мёртвым» или «волками», и вечерами приходил домой с покрасневшими глазами.

Скорев в эти два дня собирал другое.

Он говорил с возчиками — с теми немногими, что ещё ездили на север, через лес, — и с мужиками, приезжавшими на рынок из ближних деревень, и с солдатами на пустыре у Северных ворот. Он спрашивал одно и то же: где жгли? Не где грабили — где жгли. Деревни, дворы, хлеба. Когда.

Ему рассказывали охотно, потому что про это любят рассказывать. И он слушал и записывал — точнее, запоминал, — и вечером диктовал Каспару, а Каспар писал рядом со своим, из книги.

На третий вечер они сели над этим вместе.

— Остерхоф, — сказал Каспар, водя пальцем по листу. — Позапрошлой весной. Сожжены два двора и мельница, угнан скот. «Убиты волками» — семеро, книга. Мужики говорят — больше. Летом того же года — ещё раз: хлеб на корню пожгли. Осенью Остерхоф занял.

— У кого?

— У Аарона… нет. — Каспар поискал. — Тут не написано. Мужики говорят — у жида в Гербштадте. А потом этот жид долг продал.

— Кому — знаем, — сказал Скорев. — Дальше.

— Брайтенау. Прошлой весной. Сожжена Нижняя — дотла, сорок дворов. «Убиты волками» — двенадцать. Летом угнан скот из Верхней.

— Кальтенбрунн?

— Прошлым летом. Хлеба пожгли. И ещё — тут в книге — «найден мёртвым в лесу управляющий господина фон Кальтенбрунна, ехавший с деньгами». С деньгами, экселенц.

— С деньгами, — повторил Скорев.

— Дрейвеге — этим летом, — сказал Каспар. — Тут уже я и без книги знаю, вы сами слышали. Усадьбу сожгли в июне. Кавалер со своими отбился, но двор сгорел, и амбар, и хлеба. В июле он занял. На Михайлов день — перешло.

— В июле, — сказал Скорев. — А шкуры скорняку принесли когда?

Каспар посмотрел на него.

— В июле, экселенц. Перед Иаковом.

— Перед Иаковом.

Каспар молчал. У него приоткрылся рот.

— А Линденау? — спросил Скорев.

— Линденау… — Каспар поводил пальцем. — В книге ничего. Мужики говорят… — Он нашёл. — Мужики говорят, этой осенью, после Михайлова дня, — два раза. Мельница сгорела. И угнали стадо.

— Этой осенью, — сказал Скорев. — А срок у Линденау — Мартынов день будущего года.

— Будущего.

— Значит, Линденау ещё не заняла, — сказал Скорев. — Но займёт. Весной. Когда мельница сгорела и скот угнан, весной сеньору нечем платить подать, и он идёт занимать. А

тот, кто даёт, уже стоит у двери.

Он отодвинулся от стола.

— Пять из шести, — сказал он. — Пять из шести заложенных имений горели до закладной. Остерхоф. Брайтенау. Кальтенбрунн. Дрейвеге. Линденау — горит сейчас, а закладная будет. Шестое — Вельде.

— Вельде не горела, — сказал Каспар.

— В Вельде вместо волков сидел Кремп, — сказал Скорев. — Ему жечь не надо было. Он делал то же самое изнутри — книгами, нарядом, расписками. А там, где Кремпа нет, — жгут. Снаружи. Волками.

Каспар сидел, как сидят люди, которым сказали, что дом, в котором они живут, построен на кладбище.

— Волки жгут не там, где сытно, — сказал Скорев. — А там, где потом покупают.

Он сидел и смотрел на свечу.

Он думал о том, что теперь он знает две вещи, которых не знал неделю назад. Первая — что волки не голодные, а на жалованье. Вторая — что жгут они не где попало, а там, где потом покупает Хойзингер. И что, значит, тот, кто платит волкам, и тот, кто покупает землю, — если не один человек, то из одного кошеля.

И третью, которой он не знал, а только чуял: Хойзингер — суконщик, член малого совета в Гербштадте. Суконщик не держит роту в сорок человек на кованых конях. Суконщику это не по карману и не по чину. Тревизо тогда сказал:

суконщик не покупает лес, мельницу и мост в двенадцати милях от города, прибыли ему с этого нет никакой. А тот, кому прибыль есть, — тот и держит роту.

Кто?

Он не знал.

— Каспар, — сказал он. — Это никому.

— Никому, экселенц.

— Ни Клещу. Ни мальчишкам. Никому.

— Почему?

— Потому что кто это знает, того режут, — сказал Скорев. — Связанных. По одному. Чтобы другие смотрели.

Каспар сложил листы и спрятал за пазуху, туда, где у него в подкладке был зашит список закладной.

А на другой день Тиль принёс весть с мельницы.

Мальчишка с мельницы у Хольцбаха, тот, что носил волкам хлеб, сказал Тилю — за два пфеннига, — что послезавтра волки придут за хлебом. Сами, с телегой. Мельник им напёк на всю неделю, и они придут забирать, как приходят каждую неделю, и будут человек восемь, при телеге, верхами двое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.